



Оноре де Бальзак

Беатриса

Перевод с французского
Надежды Жарковой

ФТМ



Оноре Бальзак
Беатриса

«ФТМ»

1844

Бальзак О. д.

Беатриса / О. д. Бальзак — «ФТМ», 1844

В романе, показывая лживость и лицемерие «общественных деятелей» периода Июльской монархии, Бальзак подчеркивает, что скрытыми двигателями любой формы общественной деятельности в буржуазном обществе являются – наряду со стремлением извлечь из всего выгоду – суетность, мелкое самолюбие и тщеславие.

Содержание

Первая часть	6
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Оноре де Бальзак Беатриса

Посвящается Карре¹.

В ясный, тихий день у берега Средиземного моря, там, где некогда простиралось владение, носившее Ваше милое имя, сквозь прозрачные покровы волны можно иногда разглядеть морской цветок, дивное создание природы: кружевные листья и сеть жилок пурпуровых, коричневых, розовых, фиолетовых и золотистых тонов, бархатистую ткань, свежесть живой филигранной драгоценности; но все это блекнет, лишь только любопытный извлечет растение из моря и бросит на песок. Вот так же и яркое солнце гласности оскорбило бы Вашу святую скромность. Поэтому, посвящая Вам свое произведение, я не решаюсь называть Вашего имени; но благодаря этому умолчанию Ваши прелестные руки могут благословить мой труд. Ваше светлое чело может задумчиво склониться над его страницами, Ваши глаза, полные материнской любви, могут ему улыбнуться, – ведь Вы останетесь в той глубине, где расцвела Ваша прекрасная жизнь, так же как таится на ровном и светлом песчаном дне жемчужина морской флоры, сокрытая голубой волной и доступная лишь дружественному скромному взгляду.

Мне хотелось бы положить к Вашим ногам произведение, достойное Вашей душевной прелести, если же это мне не удалось, буду надеяться в утешение себе на Вашу врожденную склонность покровительствовать слабым.

Де Бальзак

Первая часть Действующие лица

Во Франции, особенно в Бретани, еще и поныне встречаются города, которых не коснулся социальный прогресс, придающий XIX веку его характеристические черты. Из-за отсутствия постоянного и удобного сообщения с Парижем такие города, связанные даже с супрефектурой или департаментом лишь скверными, почти непроезжими дорогами, прислушиваются или присматриваются к шествию новой цивилизации как к некоему зрелищу, достойному удивления, но отнюдь не рукоплесканий. Потешаясь над ней или остерегаясь ее, богоспасаемые города эти хранят верность старым обычаям, наложившим свой отпечаток на все их бытие. Если вы отправитесь в путь в качестве археолога провинциальных нравов с целью наблюдать живого человека, вместо того чтобы изучать мертвые камни, вы можете обнаружить в полной неприкосновенности картину жизни времен Людовика XV в какой-нибудь деревеньке Прованса, Людовика XIV – в глуши Пуату и картину еще более давних веков – в самом сердце Бретани. Большинство тамошних городов, лишившись своего блеска, ничего уже не говорит ни уму, ни сердцу историка, которого более нравов интересуют факты и даты; однако воспоминание о былом величии и поныне живет в памяти провинциальных обывателей, и, в первую очередь, в памяти бретонцев, которые в силу своего национального характера не склонны предавать забвению прошлое родного края. Многие из этих городов некогда служили столицами маленьких феодальных государств – графств или герцогств, перешедших под власть короны или поделенных между многочисленными наследниками вследствие угасания мужской линии. Отставленные от прежней деятельности, эти головы со временем превратились в руки. А рука, лишенная питательных соков, слабеет и сохнет. В последние тридцать лет эти уцелевшие картины старины понемногу исчезают и становятся редкостью. Современная промышленность, выпускающая свои изделия тысячами, оказалась пагубной для древнего искусства ремесленников, произведения коих создавались в расчете на определенного покупателя, носили на себе отпечаток личности и мастера и заказчика. Мы теперь производим, но не создаем. Большинство наших памятников относится к числу творений далекого исторического прошлого. Для современного промышленника подобного рода памятники – это каменоломни, селитровые копи или склады хлопка. Пройдет еще лет десять, и такие города потеряют свои самобытные черты, и след от них сохранится только в литературных летописях, подобных нашей.

Одним из городов, наиболее верно передающих дух феодальных веков, является Геранда. Уж одно слово «Геранда» вызывает тысячи воспоминаний в памяти художника, поэта, мыслителя, которым привелось посетить берег, где покоится этот алмаз феодальной Франции, горделиво венчающий полукружье моря и дюн и как бы образующий вершину треугольника, в углах которого лежат две не менее примечательные жемчужины – Круазик и местечко Батц. Только Витрэ, расположенный в сердце Бретани, да Авиньон – на юге Франции, так же как и Геранда, хранят в наши дни в полной неприкосновенности средневековый облик. Еще и сейчас Геранду опоясывают мощные крепостные стены; широкие рвы наполнены водой, все зубцы сохранились, бойницы не заросли кустарником, плющ не одел покровом своей листвы круглые или четырехугольные башни. В Геранду вы можете попасть через одни из трех ее ворот, пройдя по деревянному подъемному мосту, окованному железом; правда, этот мост больше не поднимают, но поднять его можно. Обыватели Геранды горько сетовали на мэрию, вздумавшую в 1820 году насадить тополя вдоль рвов, чтобы осенить тенистыми ветвями любимое место прогулок герандцев. Градоправители заявили в свое оправдание, что еще сто лет назад великолепная площадь, идущая со стороны дюн

вдоль прекрасно сохранившихся укреплений, была превращена в площадку для игры в мяч, и посаженные здесь развесистые вяза уже давно полюбились горожанам. Здешние дома не претерпели ни малейших изменений – не стали ни выше, ни ниже. Ни одного фасада не коснулся молоток каменщика или кисть маляра, ни одна балка не осела под тяжестью вновь возведенного этажа. Все здания остались такими же, какими вышли из рук строителей. Некоторые дома покоятся на деревянных столбах, образующих галереи, и горожане расхаживают под этими перекрытиями, которые хоть и гнутся, но никак не рухнут. Купеческие дома, низенькие и приземистые, облицованы по фасаду изразцами. Дерево, теперь уже полусгнившее, шло преимущественно для резных наличников: под окнами то гримасничают с выступающих балок страшные физиономии, то вдруг на углах вытягиваются фигуры невиданных зверей, оживленные волшебной силой искусства, которое некогда умело вдыхать жизнь и в мертвую природу. Эта старина, торжествующая над временем, открывает глазу художника все богатство тускло-коричневых тонов и полустертых фигур, которые так и просятся на полотно. Улицы остались такими же, какими они были четыре столетия тому назад. Но уже давно Геранда порядком опустела, прежняя общественная энергия иссякла, и любопытствующий путешественник, осматривая прекрасный, как древние доспехи, город, не без грустного раздумья пройдет по безлюдной улице, где его взгляд привлечет каменное обрамление оконных проемов, заложенных кирпичом во избежание налога². Эта улица упирается в потайную заколоченную дверь, пробитую в каменной стене, за которой виднеется купа деревьев, изящно подобранных руками бретонской природы, великой искусницы выращивать самую пышную, самую изобильную растительность во всей Франции. Художник или поэт просидит не один час под этими нетронутыми временем сводами, наслаждаясь глубокой тишиной, – из мирного города не доносится в этот уголок никаких шумов, и цветущие деревья просовывают совсем по-деревенски свои ветви из бойниц, некогда укрывавших лучников и арбалетчиков и напоминающих окна бельведеров. Невозможно, прогуливаясь здесь, не вспомнить на каждом шагу обычаи и нравы прошедших времен: каждый камень говорит вам о них; самый дух средневековья живет в суевериях нынешней Геранды. Если паче чаяния дорогу вам перейдет жандарм в расшитой галунами треуголке, вы невольно возмутитесь – таким анахронизмом покажется на этих улицах его фигура; впрочем, редко-редко современность напомнит вам здесь о себе, о своих людях, о своем быте. Даже современное платье здесь в диковину: местные жители выбирают из нынешней одежды то, что легче всего приспособить к их неизменным привычкам и всему их старомодному укладу. На рыночной площади то и дело попадаются бретонцы в национальных костюмах немислимого покроя, приводящих в восторг заезжих художников. Белоснежные балахоны болотарей, как зовут здесь людей, работающих на соляных озерах, представляют резкий контраст с синими и коричневыми тонами крестьянского платья, со старинными женскими нарядами, которые свято хранятся в бретонских деревнях. Эти два класса местного населения – болотари и крестьяне, и третий – моряки в матросских куртках и шапках из лакированной кожи с маленькими полями, отличаются друг от друга, как индийские касты, и сами поныне делают строгое различие между буржуазией, дворянством и духовенством. Слои эти еще резко разграничены: рубанок революции, натолкнувшись здесь на человеческую массу, слишком косную и упорную, остановился: иначе он зазубрился бы, а пойдя дальше – мог бы и сломаться. Неподвижность – свойство, которым природа наделила некоторые низшие виды животного мира, здесь стала свойством людей. Даже после революции 1830 года Геранда осталась тем, чем и была: исконным бретонским городком, приверженным католической церкви, все той же тихой, ушедшей в себя Герандой, глухой к новым веяниям.

² ...оконных проемов, заложенных кирпичом во избежание налога. – В описываемое Бальзаком время налог с домовладельцев взимался во Франции в зависимости от количества окон и дверей в доме.

Особенности Геранды объясняются ее географическим положением. Этот очаровательный город господствует над цепью соляных озер, откуда добывается знаменитая по всей Бретани герандская соль, – именно ей местные жители приписывают прекрасные качества бретонского масла и сардинок. Геранда связана с остальной Францией всего двумя дорогами: одна ведет в Савенэ – округ, куда входит Геранда, и достигает Сен-Назера; вторая дорога через Ванн связывает город с Морбиганом.

Окружная дорога идет все время посуху, а через Сен-Назер можно добраться морем до Нанта. По первой дороге ездят только чиновные лица. Самый короткий и самый излюбленный путь – сен-назерский. Однако между Сен-Назером и Герандой есть участок, не менее шести лье, где почтовая карета не ходит, да здесь ей и некого возить: за год не наберется и трех путешественников. Сен-Назер отделен от Пембефа устьем Луары, которая достигает здесь четырех лье ширины. Песчаные отмели Луары не допускают регулярного движения паровых судов; в довершение всего в 1829 году на сен-назерском мысу еще не было пристани – море у берега усеивали голые скользкие утесы, гранитные рифы и огромные каменные глыбы, окружавшие неприступной стеной здешнюю живописную церковь; путешественникам приходилось дожидаться прилива, чтобы погрузиться вместе со своими пожитками в баркасы, а в тихую погоду, перепрыгивая с камня на камень, они добивались до мола, который в ту пору только еще строился.

Все эти помехи и преграды могли обескуражить самого заядлого путешественника; вероятно, они существуют и поныне. Во-первых, власти обычно не очень торопятся с завершением начатых работ; во-вторых, население этой территории, которая, как острый зуб, выпирает на карте Франции между Сен-Назерским портом, местечком Батц и Круазиком, вполне приспособилось к неудобствам, преграждающим сюда доступ чужеземцу. Итак, из Геранды, заброшенной на самый край континента, нет выхода никуда, и, следовательно, никто в нее и не ездит. Счастливая этим забвением, она печется только о самой себе. Рынком сбыта продукции богатейших соляных промыслов, которые облагаются миллионными налогами, служит Круазик. Дорога из этого городка, расположенного на полуострове, ведет в Геранду через зыбучие пески, которые в течение одной какой-нибудь ночи засыпают путь, проложенный накануне; но в Геранду можно попасть и на баркасах, через круазикскую гавань – длинный заливчик, врезающийся в песчаный берег. Этот своеобразный городок является как бы Геркуланумом феодализма³, хотя и не покрыт саваном лавы. Он уцелел, но не живет; он существует только потому, что не разрушен. Если вы следуете в Геранду со стороны Круазика, то после утомительного однообразия соляных озер вас охватит неподдельное волнение перед зрелищем внушительных крепостных стен, в которых жив и по сей час каждый камень. Не менее живописна Геранда и со стороны сен-назерской дороги, где путника очарует наивная прелесть окрестностей описываемого нами города. Все вокруг восхищает глаз, живые изгороди усеяны цветами, благоухает жимолость, шиповник, зеленеет самшит; повсюду растительность самая роскошная. Вы невольно вспомните английский парк, разбитый искусным художником. Этот роскошный, нетронутый оазис, напоминающий своей мирной прелестью пучок фиалок или ландышей в лесной чаще, окружен поистине африканской пустыней, омываемой океаном; в этой пустыне вы не встретите ни деревца, ни травинки, не услышите пения птиц, и в яркие солнечные дни белые балахоны болотарей, бродящих меж унылых озер, кажутся арабскими бурнусами. Именно поэтому Геранда, утопающая в свежей избыточной зелени среди бесплодной пустыни, которая одним своим краем подходит к Круазику, а другим упирается в местечко Батц, не похожа ни на какой другой уголок французской земли. Такая разительная близость двух крайностей

³ ...городок является как бы Геркуланумом феодализма... – то есть памятником далекого прошлого. Геркуланум – город в Италии; был засыпан лавой во время извержения Везувия в 79 г.

природы, слившихся в этом заповеднике феодализма, производит неизгладимое впечатление. Геранда успокаивает душу, как успокаивает тело опий; она, как Венеция, полна тишины. В городе имеется только одна почтовая карета – дряхлая колымага, которая доставляет пассажиров на судно, развозит кое-какие товары, а при случае и письма из Сен-Назера в Геранду и из Геранды в Сен-Назер. В 1829 году некий Бернюс, владелец кареты, был единственным благодетелем всей округи. Он выезжал из города и прибывал к месту назначения, когда ему вздумается, был знаком со всеми жителями края, выполнял все их поручения. Появление его кареты – всегда огромное событие, пусть даже в ней прибудет одна-единственная дама, пробирающаяся сухопутной дорогой через Геранду в Круазик, или немощный старец, который направляется к морю, ибо морские купания на этом скалистом полуострове значительно превосходят своими целебными свойствами прославленные Булонь, Дьепп и Сабль. Крестьяне обычно приезжают в Геранду верхами, приторочив к седлу мешок с припасами. Здесь они, как и болотари, выбирают на свой деревенский вкус дешевенькие колечки и сережки, которые, по местному обычаю, дают за каждой бретонской невестой в придачу к беленым холстам или домотканому сукну. На десять лье в округе Геранда остается Герандой, то есть прославленным градом, где был подписан знаменитый в истории договор⁴; она – страж этого морского берега и, наравне с местечком Батц, хранит остатки былого величия, канувшего во мглу времен. Драгоценности, шерстяные и бумажные ткани, ленты, шляпки доставляют сюда со стороны, но для покупателей они – герандские. Любой художник, даже любой буржуа, заглянувший проездом в Геранду, на минуту почувствует, подобно путешественнику, посетившему Венецию, желание окончить свои дни в герандской тиши, прогуливаясь на солнышке по просторной площади, что тянется со стороны моря вдоль городской стены от одних ворот до других. Иной раз образ Геранды вдруг возникнет в тайнике ваших воспоминаний, она встанет перед вами в роскошном убранстве башен, опоясанная крепостными стенами; она расправит свой плащ, затканый прекрасными цветами, горделиво встряхнет золотым покрывалом дюн, она опьянит вас всем богатством своих ароматов – смолистым запахом нагретых солнцем сосновых перелесков, колючего дрока, тропинок, над которыми в беспорядке склоняются цветущие ветви боярышника; она завладеет вами и поманит вас за собою, подобно прекрасной незнакомке, встреченной мельком в далекой стране и навсегда запечатлевшейся в вашем сердце.

Возле герандской церкви стоит дом, который для Геранды то же самое, что Геранда для этого края, – точный образ минувшего, символ утраченного величия, словом, сама поэзия. Дом этот принадлежит знатнейшему в Бретани роду дю Геников, которые во времена дю Гескленов⁵ превосходили последних богатством и знатностью, подобно тому как жители Трои превосходили в этих двух отношениях римлян. Гесклены, которые некогда писались также «дю Глекены», откуда и получилось впоследствии «Геклены», происходили от Геников. Основатели древнего, как бретонские камни, рода дю Геников – ни франки, ни галлы; они бретонцы, или, точнее, кельты. Говорят, что они были некогда друидами⁶, собирали омелу в священных лесах и приносили в долменах⁷ человеческие жертвы. Описывать их не стоит. Род дю Геников, не уступающий Роганам, хотя и пренебрегший княжеским титулом, прославил себя еще в то время, когда никто и не слыхал о предках Гуго Капета⁸, а ныне этот беспримесно чистый род имеет лишь около двух тысяч ливров ренты, дом в Геранде да

⁴ ...где был подписан знаменитый в истории договор. – Речь идет о договоре 1365 г., положившем конец военной распри между французским королем и бургундским герцогом по вопросу о наследнике бургундского престола.

⁵ ...во времена дю Гескленов... – Дю Гесклены – старинный дворянский род в Бретани. Бертран дю Гесклен прославился своими подвигами в борьбе с англичанами (XIV в.).

⁶ Друиды – жрецы у древних кельтов.

⁷ Долмены – древние сооружения из плоских камней, предназначенные для культовых обрядов кельтов.

⁸ Гуго Капет (ок. 940–996) – французский король (987–996 гг.), основатель династии Капетингов.

небольшой замок в Генике. Все земли, принадлежавшие геникским баронам, первым в Бретани, отданы под залог фермерам, которым они приносят около шестидесяти тысяч ливров дохода, несмотря на низкий уровень земледелия. Конечно, Геники остаются владельцами своих земель, но так как они не могут вернуть капитал, который двести лет назад им внесли арендаторы, доходами с земель они не пользуются. Они находятся в том же положении, в каком был перед 1789 годом французский королевский дом в отношении своих «залогодателей». Где и когда добудут дю Геники миллион, который они получили от своих фермеров? До 1789 года доходы с земель, находившихся в вассальной зависимости от Геникского замка, расположенного на высоком холме, давали пятьдесят тысяч ливров, но Национальное собрание отменило подати, которые сеньоры получали с крепостных при наследованиях и разделах владений. Семья Геников, ныне ничего не значащая во Франции, стала бы из-за бедности посмешищем всего Парижа; но для Геранды она была воплощением Бретани. Для Геранды барон дю Геник – первый барон во Франции, выше его был только французский король, некогда избранный главой государства. Ныне имя дю Геников, полное для бретонцев глубокого смысла, что, впрочем, уже было объяснено в романе «Шуаны, или Бретань в 1799 году»⁹, подверглось изменениям, коих не избежали и дю Геклены. Сборщик податей, как, впрочем, и все остальные герандцы, пишет теперь просто: Геник.

Вдоль тихой узкой улицы, где стоит прохладная и сырая тень, идут старинные дома с высокими островерхими крышами, и заканчивается она аркой, в глубине которой виднеются ворота, достаточно широкие и высокие, чтобы пропустить всадника, из чего явствует, что в те времена, когда строился дом, карет еще не существовало. Эта арка, целиком из гранита, покоится на двух устоях. По всей поверхности растрескавшихся дубовых ворот набиты огромные гвозди, шляпки которых образуют геометрические фигуры. В арочном своде высечен щит дю Геников такого четкого, такого ясного рисунка, как будто только вчера его закончил ваятель. Этот щит приведет в восхищение любителя геральдики своей простотой, свидетельствующей о благородстве и древности рода дю Геников. Он таков, каким был щит дю Геников в те дни, когда крестоносцы изобрели различные эмблемы на щитах, чтобы опознавать друг друга, и дю Геники никогда не делили его на четверти: он сохранился в первоначальном виде, подобно гербу французской династии, фигуры которого знатоки обнаруживают с первого взгляда в «сердце» большого щита на гербах старинных дворянских фамилий. Герб дю Геника вы и поныне можете увидеть в Геранде: на червленом поле рука натурального цвета, облаченная в горностаю и вертикально держащая серебряный меч с грозным девизом: «Fas!»¹⁰ Разве это не прекрасно и не величественно? Зубцы баронской короны служат завершением этого простого щита, а выпуклые вертикальные линии, идущие по пурпурному полю, еще до сих пор не потеряли своего блеска. Художник сумел придать руке непередаваемо гордый и благородный поворот. С какой энергией держит она меч, которым еще вчера пользовались дю Геники! Право же, если вы, прочитав нашу повесть, побываете в Геранде, вы испытаете некоторое волнение при виде этого щита. Даже самого сурового республиканца тронет эта верность, это благородство и величие, таящиеся в глубине заброшенной улочки. Дю Геники действовали вчера, они готовы действовать и завтра. Действовать – это великое слово рыцарей. «Ты хорошо действовал в эту битву», – говаривал коннетабль, великий полководец дю Геклен, на время изгнавший англичан из Франции. Подобно тому как скульптурное изображение герба уцелело от холода и непогод под защитой округлого выступа арки, свято сохранился девиз его в душе дю Геников. Того, кто знает дю Геников, растрогает этот герб. Через открытые ворота виден довольно просторный двор, по пра-

⁹ «Шуаны, или Бретань в 1799 году» (1829) – первый роман Бальзака, принесший ему литературную известность; объяснение имени дю Геников имеется только в первых изданиях «Шуанов», из позднейших изданий Бальзак его исключил.

¹⁰ Действуй! (лат.).

вой стороне которого стоят службы, а слева расположена кухня. Стены дома от подвалов до чердака сложены из тесаного камня. Во двор выходит крыльцо с каменными перилами, и к нему примыкает открытый помост с остатками резьбы, полустертой временем; но зоркий глаз любителя старины различит и тут среди неясных фигур очертания руки, держащей меч. Под этим изящным помостом с потрескавшимся и залоснившимся от времени красивым резным обрамлением находится небольшая ниша, некогда служившая собачьей конурой. Каменные перила разошлись; какие-то цветочки, трава и мох пробиваются из расщелин, а также между ступеней лестницы, которые столь же прочны, как и триста лет назад. Дверь в свое время, должно быть, была просто хороша. Судя по сохранившейся кое-где узорной резьбе, она сработана руками вдохновенного мастера, принадлежавшего к великой венецианской школе XIII века. Здесь самым причудливым образом смешаны византийские и мавританские мотивы. Вверху дверь увенчана полукруглым выступом, который природа украсила зеленью и цветами; в зависимости от времени года розовые и голубые тона сменяются здесь желто-коричневыми. Дубовая дверь, испещренная крупными шляпками гвоздей, ведет в просторную залу, в противоположном конце которой имеется другая дверь и другое крыльцо, выходящие в сад. Поистине чудесно сохранилась эта старинная зала! Стены ее снизу обшиты каштановым деревом, сверху их покрывает великолепная испанская тисненая кожа, с которой кое-где слезла позолота, оставив красноватые блески. Потолок сделан из досок, искусно подогнанных встык и покрытых краской и золотом. Впрочем, и здесь позолота почти не видна: ее постигла та же участь, что и позолоту, украшавшую испанскую кожу, но кое-где еще заметны красные цветы и зеленые листья. Основательно расчистив потолок, верно, можно было бы обнаружить роспись, подобную узорам мозаичных полов во дворце Тристана, в Туре, и нет сомнения, что эти потолки подновлялись или переделывались во времена Людовика XI. В огромном камине, сложенном из резного камня, видна кованая железная подставка для дров прекрасной работы. Целый лес можно навалить в этот камин. Мебель в зале дубовая; на спинках стульев и кресел вырезан фамильный герб. На стене висят три английских ружья, пригодных и для охоты, и для войны, три сабли, две кожаные сумки, а также разная охотничья и рыболовная снасть.

Рядом – столовая; она сообщается с кухней через дверь, пробитую в угловой башне. На углу противоположного крыла дома возвышается другая башенка, внутри которой идет винтовая лестница, ведущая в два верхние этажа. Стены столовой обиты коврами обоями, восходящими к XIV веку, судя по стилю и орфографии надписей, вытканых на изгибающихся ленточках под каждым изображением; поскольку текст их написан соленым языком *фаблю*¹¹, воспроизвести их тут невозможно. Обои эти, сохранившие яркость красок в темных углах столовой, куда не проникает солнечный свет, окаймлены багетом из резного дуба, которому время придало блеск черного дерева. Потолок столовой – с выпуклыми балками, причем каждая украшена сложным орнаментом из листьев. В промежутке между балками пущены по голубому полю золотые гирлянды. У стен высятся друг против друга два поставца. На полках, которые с бретонским упорством натирает воском кухарка Геников Мариотта, стоят четыре старинных кубка, столь же древняя, помятая суповая миска, две серебряные солонки, а также стопка оловянных тарелок и с дюжину жбанов из серого и голубоватого песчаника с причудливыми резными рисунками, с гербами дю Геников и с оловянными крышками на шарнирах, – словом, все то, что красовалось в королевских покоях в 1200 году, когда короли были так же бедны, как Геники в 1830-м. Камин переделывался в более поздние времена. И по виду его можно заключить, что в этой гостиной охотно сживало несколько поколений дю Геников. Камин сделан из камня, со скульптур-

¹¹ *Фаблю* – небольшие стихотворные рассказы, в которых сатирически изображаются быт и нравы; изобилуют грубыми шутками. Наиболее популярный в средние века во Франции жанр городской литературы.

ными орнаментами в стиле Людовика XV. Над камином – зеркало в рамке, разукрашенной круглыми позолоченными шишечками. Этот контраст, которого, очевидно, не замечают сами хозяева дома, наверно, покорибил бы художника. На каминной доске, покрытой красным бархатом, стоят часы, отделанные черепахой и медными инкрустациями, а по сторонам часов – два диковинных серебряных канделябра. Большой квадратный стол на витых ножках занимает середину столовой. Стулья из резного дерева обиты штофом. Возле большого окна, выходящего в сад, на круглом столике об одной ножке, изогнутой наподобие виноградной лозы, находится лампа странной формы. Резервуаром лампы служит шар из простого стекла, размером со страусовое яйцо, вставленный с помощью стеклянного же шпенька в подсвечник. Из отверстия в верхней части резервуара выходит плоский фитиль, вправленный в медную трубочку; конец фитиля, свернувшийся петлями наподобие солитера, сосет ореховое масло, налитое в шар. Окно в сад и противоположное ему – во двор окаймлены каменными наличниками, свинцовый переплет делит их на шестигранники; занавески сделаны из старинной шелковой красной ткани с желтоватым отливом, именованной в былые времена полупарчой; они задрапированы наверху поперечным полотнищем и обшиты по краю бахромой с крупными помпонами.

На обоих верхних этажах тоже только по две комнаты. Второй этаж занимает глава семейства, третий с давних пор отведен под детские. Гостей размещают на антресолях. Прислуга ютится в надстройках над кухнями и конюшней. Островерхая, со свинцовыми углами, крыша прорезана стрельчатыми окнами прекрасного стиля, выходящими в сад и во двор; соленый морской ветер уже давно развел резные узоры на тонких и изящных консолях. Над тимпаном, в котором пробиты эти окна с крестообразными каменными переплетами, до сих пор скрипит резной баронский флюгер.

Упомянем еще об одной прелестной детали, наивность которой привлечет внимание археолога. Высокая глухая стена заканчивается угловой башенкой, в которой, как мы уже говорили, идет винтовая лестница. Через низкую стрельчатую дверь можно попасть во дворик, отделяющий дом от каменной ограды, вдоль которой выстроились службы. На противоположном углу стены, со стороны сада, расположена пятигранная башенка, она увенчана колоколенкой, тогда как башенка, описанная выше, заканчивается круглой каменной карушкой. Вот с каким искусством зодчие умели изящно и непринужденно вносить разнообразие в симметрию. На уровне второго этажа обе эти башенки соединены каменной галереей, которую поддерживают выступы с лепными изображениями человеческих лиц. Вдоль всей галереи идет балюстрада, выполненная с чудесной грацией и тонкостью. Кроме того, над продолговатым оконцем, прорезанным под шипцовой крышей, нависает каменный балдахин, – под такими балдахинами обычно стоят статуи святых в порталах церкви. Из обеих башенок в галерею выходят красивые стрельчатые двери. Так искусно умела архитектура XIII века украсить поверхность голых и холодных стен, – в нынешних домах ее, увы, ничто не разнообразит! Разве не возникает в вашем воображении красавица, – вот она ранним утром прохаживается по галерее и вглядывается туда, где за Герандой лучи восходящего солнца золотят песок и играют на безбрежной поверхности океана? Разве не восхититесь вы островерхой кровлей с резным коньком, украшенной по краям двумя башенками с каннелюрами, – правую строитель решил округлить наподобие ласточкина гнезда, а в левой пробил изящную стрельчатую дверцу с готической аркой, на которой высечена рука, держащая меч? Другим своим скатом крыша обращена к соседнему дому. Мысль о гармонии руководила средневековым зодчим, когда он возвел на углу фасада, выходящего во двор, другую башенку, парную той, где проходит винтовая лестница, по-старинному называвшаяся просто «винт»; эта вторая башня соединяет столовую с кухней и заканчивается ажурным сводом, где помещена почерневшая статуя святого Каллиста.

За старинной оградой лежит пышно разросшийся сад, занимающий приблизительно пол-арпана; по стенам вьются шпалеры роз. Сад разбит на четырехугольные гряды, занятые под овощи, которые выращивает слуга по имени Гаслен, и обсаженные пирамидально подстриженными плодовыми деревьями; на попечении Гаслена находится также барская конюшня. В глубине сада – грот со скамейкой. Посреди сада возвышаются солнечные часы. Дорожки аккуратно посыпаны песком. Со стороны сада нет второй башни, которая могла бы служить парной к той, где водружена статуя. Зато здесь стену украшает витая колонна, на которой некогда развевался флаг семьи дю Геников, о чем свидетельствует заржавевшая железная трубка, в которую вставлялось древко, – теперь из нее торчат пучки чахлой травы. Эта последняя деталь, чудесно гармонирующая с уцелевшими скульптурными украшениями, доказательство того, что дом построен архитектором-венцианцем. Изящество этой колонны сразу, как собственноручная подпись мастера, говорит о ее происхождении, напоминает Венецию, рыцарские времена и изысканный вкус XIII века. Если у кого-либо возникнут сомнения на этот счет, характер орнамента убедит самого придирчивого знатока. Дом дю Геников украшают лепные четырехлистники, а не обычный трехлистный клевер. Вот эти-то четырехлистники и выдают венецианскую школу, потерявшую свою оригинальность при соприкосновении с Востоком, полумаавританская архитектура коего не особенно щепетильна насчет основных догматов католицизма и потому смело придает трехлистнику четвертый листок, тогда как христианское зодчество свято блюдет троичность. Так воображение художника-венцианца ввело его в ересь. Если жилище дю Геников привлечет вас, вы, быть может, задумаетесь над тем, почему в наши дни не возникают подобные чудеса зодческого искусства. Нынче прекрасные здания продаются, сносятся, уступают место новым улицам и переулкам. Никто не уверен, останутся ли его дети под прадедовским кровом, и каждый живет как на постоялом дворе; а некогда, строя дом, трудились, или, по крайней мере, думали, что трудятся, для грядущих поколений, на вечные времена. Оттого-то так хороши старинные постройки. Вера в себя способна творить такие же чудеса, как вера в господу бога. Что касается расположения и обстановки двух верхних этажей, то о них вы можете судить по описанию нижнего этажа, укладу и нравам семейства дю Геников. Вот уже полстолетия дю Геники принимают посетителей только в нижних двух покоях, которые, так же как и дворовые службы, как и внешняя отделка дома, дышат изяществом и наивным духом старой и благородной Бретани. Без полного топографического описания города и без столь же подробного описания жилища дю Геников читатель, пожалуй, не мог бы понять удивительного облика представителей этого рода. Итак, решив изучить портреты, мы прежде изучили рамку. И тогда всякий поймет, как вещи воздействуют на людей. Ведь памятники прошлого накладывают свой отпечаток на тех, кто живет в их близости. Мудрено быть неверующим, обитая под сенью такого собора, как, скажем, собор в Бурже. Когда душе человека на каждом шагу предстает в осязаемой форме ожидающий ее удел, ей легче удержаться от искушения. Такого мнения придерживались наши предки, но не нынешнее поколение – для него не существует ни знамений, ни примет, и нравы его меняются каждое десятилетие. А вы, читатель, разве не ждете вы, что перед вами вот-вот появится барон дю Геник с мечом в руке? Иначе все, что я рассказал вам, – было бы ложью.

В то время, с которого начинается наш рассказ, а именно в начале августа 1836 года, семейство дю Геников состояло из четырех человек – барона и его жены, старой барышни дю Геник, старшей сестры главы дома, и единственного чада дю Геников – юноши двадцати одного года, носящего, по старинному обычаю, тройное имя Годбер-Каллист-Луи. Барон, его отец, звался Годбер-Каллист-Шарль. Таким образом, в семействе дю Геников меняли только последнее имя святого. Святой Годбер, равно как и святой Каллист издавна считались покровителями дома дю Геников. Барон-отец покинул родную Геранду в те дни, когда Ван-

дея и Бретань взяли за оружие¹², и воевал бок о бок с Шаретом, Кателино, Ларошжакленом, д'Эльбе, Боншаном и князем де Лудоном. Уходя на войну, он продал все свои поместья старшей сестре, девице Зефирине дю Геник, проявив в этом случае неслыханную в анналах революционных лет предусмотрительность. После гибели всех главарей вандейского восстания барон, чудом избежавший той же участи, не подчинился Наполеону. Он не складывал оружия вплоть до 1802 года, когда, чуть не попав в руки врага, вернулся в Геранду, из Геранды выехал в Круазик, а оттуда перебрался в Ирландию, ибо он, как истый бретонец, питал ненависть к Англии. Жители Геранды делали вид, что ничего не знают о судьбе барона, – за все двадцать лет никто не проронил неосторожного слова. Девица дю Геник получала доходы с имения и пересылала деньги брату с оказией, через рыбаков. В 1813 году в один прекрасный день он вдруг вновь появился в Геранде с таким видом, будто ездил на лето куда-нибудь в окрестности Нанта. Во время своего пребывания в Дублине старый бретонец, несмотря на свои пятьдесят лет, влюбился, как юноша, в очаровательнейшую ирландку, единственную дочь одного из самых знатных, но бедных семейств этого злополучного королевства. В ту пору мисс Фанни О'Брайен шел только двадцать второй год. Г-н дю Геник собрал все бумаги, требующиеся для вступления в брак, выехал в Ирландию для бракосочетания и возвратился оттуда на родину через десять месяцев, в начале 1814 года, вместе с молодой супругой, которая подарила ему сына Каллиста в тот самый день, когда Людовик XVIII вступил в Кале, чем и объясняется, что к имени новорожденного Годбер-Каллист было добавлено еще имя Луи. Теперь старому честному бретонцу уже исполнилось семьдесят три года; гражданская война, тяготы, перенесенные во время скитаний по бретонским болотам, жизнь в Дублине оставили на нем свой тяжелый след: барон казался столетним старцем. И еще никогда ни один представитель рода Геников не подходил столь полно их ветхому жилищу, возведенному в те далекие времена, когда в Геранде был княжеский двор.

Барон был высокий, худой, жилистый старик; держался он еще прямо. Продолговатое его лицо бороздили глубокие морщины, которые полукругом шли вокруг скул и бровей, что придавало ему сходство со стариками Ван-Остаде, Рембрандта, Миериса и Герарда Доу, – эти портреты, выписанные с такой любовью, хочется рассматривать в луну. Характерные особенности его лица были как бы скрыты под сетью морщин, которые проложила жизнь под открытым небом и привычка настороженно озирать окрестность на рассвете или на заходе солнца. И все же наблюдатель подметил бы в нем нетленные черты человеческого облика, которые так много говорят нашей душе, хотя глаз наш видит уже только безжизненный череп. Резкие очертания подбородка, рисунок лба, строгость черт, твердая линия носа, вся скульптурная лепка лица, которую могли изменить лишь глубокие шрамы, все обличало отвагу, не знающую корыстных расчетов, веру, не знающую границ, умение повиноваться беспрекословно, верность, не идущую на сделки, любовь до гроба. Это был бретонский гранит в образе человека. Барон уже давно растерял все зубы. Губы его, некогда ярко-красные, а ныне лилово-синие, запали, что придавало беззубому рту сердитое и надменное выражение; однако крепкие десны надежно служили старику; впрочем, заботливая супруга обычно завертывала хлеб во влажную салфетку, чтобы сделать его мягче. Подбородок почти сходился с носом, но и поныне этот нос с благородной горбинкой свидетельствовал о чисто бретонской энергии и упорстве. Кожа была, как обычно у всех людей сангвинического, необузданного темперамента, усеяна красными пятнышками, проступавшими сквозь сетку морщин. И в самом деле, барон был создан для утомительных трудов, которые не раз и спасали его от апоплексического удара. Серебристо-белые волосы спадали крупными кольцами до плеч. Жизнь, почти угасшая в его лице, еще светилась в черных

¹² ...когда Вандея и Бретань взяли за оружие... – Во время Французской буржуазной революции конца XVIII в. Вандея и Бретань были центрами контрреволюционных восстаний 1793 г.

глазах, которые блестели из-под тяжелых век, бросали последние искры огня, теплившегося в этой благородной и честной душе. Брови и ресницы вылезли. Складки выдубленной временем кожи никогда не разглаживались. Бритва не брала его жесткой щетины, и старик отпустил окладистую бороду. Любуясь этим бретонским львом, этим стариком с мощным торсом и мускулистой грудью, художник прежде всего обратил бы внимание на его прекрасные руки, руки воина, какие, верно, были у настоящего дю Геклена, – большие, широкие, волосатые; эти руки сжимали рукоятку меча, и, подобно Жанне д'Арк, дю Геник поклялся не складывать оружия, пока не взвьется над Реймским собором королевский стяг; в эти руки впивались и рвали их в кровь шипы терновника в Бокаже; эти руки орудовали веслом в болотах, когда надо было застать врасплох «синих»¹³, или в открытом море, чтобы ускорить прибытие Жоржа¹⁴; руки верного рыцаря, пушкаря, простого солдата, вожака; руки, которые стали теперь белыми и мягкими, хотя старшая линия Бурбонов находилась в изгнании. Но, приглядевшись получше, вы могли бы по свежим шрамам заключить, что совсем недавно барон выступал в числе сторонников герцогини Беррийской¹⁵ в Вандее. Сейчас этого можно уже не скрывать. Руки эти являлись живым комментарием к прекрасному девизу, которому не изменил ни один Геник: «Fas!» Было странно видеть светло-золотистую кожу на висках рядом с бурым оттенком низкого, упрямого, сдавленного с боков лба, который из-за лысины казался выше и придавал еще больше величия этой великолепной руине. Во всем облике барона, впрочем, вполне земном, – да и могло ли быть иначе? – как у всех окружавших барона бретонцев, чувствовалось какое-то дикое, какое-то грубое спокойствие, бесстрашие гурона, и нечто просто глуповатое, что объяснялось, должно быть, полным покоем, который приходит на смену безграничной усталости и иногда возвращает человека к животному состоянию. Не часто бороздила мысль это чело. Казалось, она стояла ему больших усилий, гнездилась скорее где-то в сердце, а не в мозгу, проявлялась скорее в действии, чем в идее. Но, внимательно наблюдая за этим величественным стариком, вы разгадали бы тайну, вы поняли бы барона дю Геника, это воплощенное противоречие духу времени. У него и верования и чувства были, если так можно выразиться, прирожденными: ему незачем было размышлять. С первого же дня своего появления на свет он уже знал свои обязанности. За него думали нравы, религия. Вот так он и его сотоварищи берегли ум для действия, не растрчивая его на бесполезные, по их мнению, пустяки, которыми тешились другие. Он хранил свою мысль в сердце, как шпагу в ножнах, зато, появляясь на свет, она блистала простодушной чистотой, как меч в фамильном гербе дю Геников. Разгадав эту тайну, вы узнавали о нем все. Вы понимали твердость решений, рожденных мыслью прямой, искренней, ясной, незапятнанной, как горностаи. Вы понимали, почему перед войной он продал своей сестре имение; а этот поступок уже предвещал все – смерть, бедность, изгнание. Душевная красота этих двух стариков, – ибо сестра жила только братом и ради брата, – непонятна во всей своей глубине нашему эгоистическому веку, непостоянному и неуверенному ни в чем. Сам архангел не обнаружил бы в их сердцах ни одной своекорыстной мысли. Когда герандский юре в 1814 году уговаривал дю Геника отправиться в Париж хлопотать о пенсии, старушка, сестра барона, соблюдавшая дома жесточайшую экономию, воскликнула:

– Фи, братец, неужели вы протянете руку за подаванием, как нищий?

¹³ «Синие» – так называли во время Французской буржуазной революции конца XVIII в. солдат республиканской армии по цвету их мундира.

¹⁴ Жорж – Жорж Кадудаль (1771–1804), один из главарей контрреволюционного Вандейского восстания, участник роялистского заговора против Наполеона в 1804 г.

¹⁵ Герцогиня Беррийская (1798–1870) – в период Июльской монархии сделала неудачную попытку поднять в Вандее восстание против Луи-Филиппа с целью возвращения к власти старшей линии Бурбонов (1832 г.).

– Еще могут подумать, что я служил королю ради денег, – сказал старик. – Пусть он сам обо мне вспомнит. Бедный наш король, его замучили все эти попрошайки! Да раздай он им по кусочкам всю Францию, они еще будут кланчить добавки.

Честный слуга короля, столь рьяно соблюдавший интересы Людовика XVIII, был пожалован в чин полковника, награжден орденом Святого Людовика, и ему назначили пенсию в две тысячи франков.

– Король обо мне вспомнил! – воскликнул он, принимая бумаги.

Никто не рассеял заблуждения старика. В действительности же этим он был обязан герцогу де Фельтру, который, при просмотре состава вандейских войск, обнаружил в списках, среди прочих бретонских фамилий, оканчивающихся на «ик», имя дю Геника. Как бы желая отблагодарить короля, барон оборонял в 1815 году Геранду, осажденную батальонами генерала Траво, и отказался сдать крепость; когда пришлось все же оставить ее, он скрылся в лесах с отрядом шуанов, которые не складывали оружия вплоть до второй реставрации Бурбонов¹⁶. Геранда до сих пор хранит память об этой последней осаде. Соберись тогда старые бретонские отряды, пламя войны, зажженное этими упорными роялистами, охватило бы и Вандею. При всем том мы должны признаться, что барон дю Геник был совершенно необразован и в этом мало отличался от крестьян; он умел читать, писать и немного знал счет; в совершенстве постиг военное искусство и разбирался в гербах; но, кроме молитвенника, за всю свою жизнь не прочел и ста страниц. Старик продолжал по привычке заботиться о своем костюме, но одевался неизменно строго – он носил грубые туфли, шерстяные чулки, панталоны из темно-зеленого бархата, суконный жилет и сюртук с широкими отворотами, к которому он прицеплял крест Святого Людовика. Его лицо, которое как бы уже готовилось застыть в вечном сне, дышало чудесной умиротворенностью; последний год старик все чаще и чаще впадал в глубокую дремоту, являющуюся предвестником смерти. Эти приступы сонливости, все более и более продолжительные, не беспокоили ни его супругу, ни слепую сестру, ни друзей, так как все они были несведущи в медицине. Они считали, что эта безупречно чистая, но утомленная душа замирает временами в возвышенном небытии просто потому, что барон уже выполнил свой долг. Этим словом сказано все.

Интересы дю Геников вращались вокруг судеб свергнутой династии. Будущее изгнанных Бурбонов, равно как и будущее католической церкви, влияние последних политических событий на Бретань занимали все помыслы барона и его домочадцев. И только любовь к единственному сыну Каллисту – последней надежде славного рода дю Геников – могла соперничать с их привязанностью к королю и Бретани. Несколько лет назад старый вандеец, старый шуан как будто пережил вторую молодость, – он решил самолично приохотить сына к упражнениям в силе и ловкости, приличествующим молодому дворянину, которого ждет поле битвы. Когда Каллисту минуло шестнадцать лет, отец стал сопровождать его в поездках верхом по лесам и болотам и среди охотничьих забав приучал сына к бранным трудам; старик, не знающий усталости, неутомимый в седле, без промаха бьющий дичь влёт, посылающий коня на любое препятствие, служил юноше образцом и примером и подвергал единственное дитя всем опасностям, будто у него было десять сыновей. Когда герцогиня Беррийская вернулась во Францию, намереваясь завоевать королевский престол, отец привел к ней своего сына, чтобы Каллист мог делом доказать свою верность девизу, начертанному на фамильном гербе. Барон собрался за одну ночь, тайком от жены, не желая видеть ее слез, и повел в огонь свое бесценное дитя, как повел бы его на праздник: их сопровождал Гаслен, единственный «вассал» Геников, с радостью удравший вместе с господами. Полгода отсутствовали мужчины семьи дю Геников, не подавая о себе вестей, и баронесса не могла

¹⁶ ...вплоть до второй реставрации Бурбонов. – Первая реставрация Бурбонов произошла в апреле 1814 г., после отречения Наполеона I от престола, а вторичная – в июне 1815 г., после «Ста дней».

без дрожи взять в руки «Котидьен». Не сообщал барон ничего и своей сестре; Зефирина держалась героически стойко, и даже ни разу не нахмурился ее старческий лоб, когда она слушала чтение газеты. Итак, три ружья, висевшие на стене залы, еще совсем недавно побывали в деле. Считая, что дальнейший поход не приведет ни к чему, барон покинул стан сражающихся еще перед боем под Пенисьером, в противном случае – кто знает – его род мог бы прекратиться.

Бурной ночью отец, сын и слуга, простившись с герцогиней, вернулись домой, и вот тогда-то, обрадовав своим появлением друзей, баронессу и девицу Зефирину, которая чутьем, свойственным всем слепым, еще издали узнала шаги дорогих путников, барон оглядел взволнованные лица близких, освещенные старинной лампой, и, не дожидаясь, когда Гаслен развесит на местах ружья и сабли, промолвил с феодальной наивностью: «Не все бароны выполнили свой долг!» – и тут голос его дрогнул. Затем, поцеловав жену и сестру, он уселся в свое любимое старое кресло и приказал подать ужин сыну, слуге и себе. Гаслен был ранен ударом сабли в плечо, так как в бою прикрыл своим телом Каллиста; поступок этот казался дамам дю Геник столь естественным, что они даже не особенно и благодарили верного слугу. Ни барон, ни его гости не хулили и не проклинали победителей. Сдержанность – одна из характерных особенностей бретонца. За сорок лет никто никогда не слышал, чтобы барон произнес хоть одно бранное слово по адресу своих противников. Пусть делают свое дело, как он выполняет свой долг! Глубокая молчаливость есть также свидетельство несокрушимой воли. Это последнее усилие, эта последняя вспышка энергии и явилась причиной неодолимой слабости, овладевшей бароном дю Геником. Дом Бурбонов, сначала по воле провидения низложенный, а затем столь же чудесно восстановленный, снова был в изгнании, и это повергало старика в горькое уныние.

В шесть часов вечера того дня, когда начинается наше повествование, старик, отобедав, по давнишней привычке, в четыре часа, мирно дремал под чтение «Котидьен». Голова его покоилась на спинке кресла, стоявшего около камина, напротив окна в сад.

Рядом с этим кряжистым, как дуб, стариком баронесса, сидевшая на ветхом стуле возле камина, являла собой тот обаятельный тип женской красоты, который встречается лишь в Англии, Ирландии и Шотландии. Только на этой земле и рождаются лилейные, златокудрые девы, чьи локоны вьются, должно быть, от прикосновения нежных перстов ангела, ибо, когда ветерок играет ими, в них горит небесный отблеск. Красивая и изящная Фанни О'Брайен была настоящей ирландской сильфидой, сильной духом и доброй, стойкой перед лицом несчастья, кроткой, как музыка ее речей, чистой, как ясная синева ее глаз. Природа наделила ее нежной кожей: для руки – это шелк, а для глаза – наслаждение, которое не в состоянии передать ни кисть художника, ни слово поэта. Она была прекрасна даже в сорок два года, и многие сочли бы за счастье назвать своей супругой эту женщину, прелести которой напоминали жаркую красу августа, богатого цветами и плодами, восхитительно освежаемого небесными росами. Баронесса держала газету прекрасной рукой с милыми ямочками; кончики пальцев ее слегка загибались кверху, а ногти были продолговатые, как у античных статуй. Слегка откинувшись на спинку стула в изящной и непринужденной позе, баронесса вытянула ноги поближе к пылающему камину; на ней было черное бархатное платье, потому что последние дни похолодало. Корсаж плотно облегал великолепные плечи и все еще прекрасную грудь, не испорченную материнством, хотя баронесса сама кормила сына. Голову она убирала на английский манер, спуская вдоль щек длинные букли. Черепеховый гребень поддерживал тяжелый узел волос, нимало не потускневших, отливавших на солнце темно-золотыми нитями. А непокорные локоны, которые вьются на затылке и служат верным признаком породы, она заплетала в трогательную косичку и высоко подкалывала ее вместе со всей массой волос, открывая гибкую шею, красиво переходившую

в линию плеч. Эта незначительная деталь свидетельствовала о том, что баронесса неизменно заботилась о своем туалете.

Она старалась порадовать взгляд старого барона. Какая милая и очаровательная заботливость! Если вам посчастливится встретить женщину, расточающую у домашнего очага все то кокетство, которое у других представительниц прекрасного пола рождается только под влиянием одного определенного чувства, – смело доверьтесь ей: она – достойная мать и супруга, она свято блюдет свои обязанности, она – радость и украшение дома, ее душа и чувства столь же совершенны, как ее внешность, она творит добро втайне, ее любовь не запятнана ни одной задней мыслью, она любит своих ближних, как любят бога, без всякого расчета и корысти. И невольно казалось, что сама дева рая, хранительница Фанни, вознаградила эту непорочную юность, эту светлую жизнь, отданную благородному старику, и наделила ее лучезарной красотой, над которой бессильна суровая рука времени. Те изменения, что претерпела с годами красота Фанни, Платон прославил бы как проявление новой прелести. Кожа Фанни, некогда белоснежная, приобрела теплые золотистые тона, которые так любят художники. Ее высокий лоб прекрасного рисунка, казалось, вбирал в себя свет, любовно скользивший по его шелковистой блестящей поверхности. Бирюзовые зрачки сияли из-под бархатистых светло-каштановых бровей на редкость мягких очертаний. Непередаваемой грустью дышали ее нежные веки, изящно округленные виски. Под глазами и на переносице кожа была матово-белая, с тончайшими голубыми жилками. Орлиный, тонкий нос свидетельствовал о высоком, почти королевском, происхождении этой дочери Ирландии. Чистых и четких очертаний рот красила непринужденная, бесконечно приветливая улыбка. Зубы у баронессы были очень белые и некрупные. С годами она слегка расплвелась, однако время пощадило ее гибкую талию. В этой по-осеннему зрелой красоте чувствовались еще прелестные цветы весны и пламенный разгар лета. Руки Фанни стали благородно округлыми, а гладкая упругая кожа поражала теперь особой нежностью; все формы приобрели роскошную законченность. Открытое, ясное, нежно-розовое лицо и чистые голубые глаза, которые оскорбил бы брошенный на них нескромный взгляд, неизменно выражали доброту и ангельскую кротость.

По другую сторону камина сидела в кресле восьмидесятилетняя сестра барона, как две капли воды похожая на брата, и слушала чтение газеты, не прерывая вязания – труда, для которого зрение не требуется. Оба ее зрачка заволокли бельма, но Зефирина дю Геник, вопреки настояниям невестки, упорно отказывалась от операции. Только одна она знала почему: старуха уверяла домашних, что боится ножа, а на самом деле просто не желала тратить на себя двадцать пять луидоров, – ведь от этого могло пострадать хозяйство. А меж тем ей очень хотелось видеть брата. Оба дю Геники, брат и сестра, выгодно оттеняли красоту баронессы. Да и какая женщина не показалась бы молодой и прелестной бок о бок с такими стариками? Девица Зефирина, потерявшая зрение уже давно, не подозревала, как изменилась к восьмидесяти годам ее внешность. Бледное лицо со впалыми щеками казалось мертвой маской, и сходство это усугублял пустой взгляд незрячих глаз, обведенных красной каемкой; три-четыре торчавших вперед зуба придавали Зефирине угрожающий вид; на подбородке и в углах рта вились седые волоски – признак мужественной природы. Это холодное и спокойное лицо обрамляли белые коленкоровые оборки стеганого коричневого чепчика, завязанного под подбородком порыжевшими тесемками. Старуха носила юбку из грубой шерсти, а под нею – стеганую нижнюю юбку, пухлую, как матрац, где у нее хранились червонцы; она каждое утро надевала и только на ночь снимала пояс с пришитыми к нему карманами. Узкий казакин, такой, как носят бретонские крестьянки, и из той же грубой, что и юбка, шерсти туго обтягивал ее грудь, у шеи он заканчивался белым воротничком, собранным в мелкие складочки. Этот воротничок служил единственной причиной раздора между золовкой и невесткой: старуха ни за что не соглашалась отдавать его в стирку раньше субботы.

Из широких, подбитых ватой рукавов казакина выходили сухие и жилистые, пожелтевшие кисти рук, по сравнению с которыми кожа запястья казалась белой, как сердцевина тополя. Пальцы скрючились от постоянной работы спицами, и непрерывное их мелькание напоминало движение вязальной машины; не верилось, что эти руки бывают когда-нибудь неподвижны. Время от времени девица дю Геник вытаскивала из-за корсажа длинную спицу и ловко запускала ее под чепчик, чтобы почесать свою седую голову. Человек непривычный не мог бы глядеть без смеха, как старуха бесстрашно втыкает обратно за корсаж спицу, не боясь уколоться. Держалась она прямо, как палка. Ее величественная осанка могла показаться невинным кокетством старости, ибо, как известно, тщеславие умирает после нас. Улыбка у нее была веселая. Девица дю Геник тоже выполнила свой долг.

Заметив, что барон уснул, Фанни перестала читать. Закатный луч заглянул в окно, золотым лезвием прорезал спертый воздух в зале и заиграл на почерневшей мебели. Солнечный зайчик скользнул по резному полу, пробежал по поставцам, растекся по дубовому столу, и сразу же тихая, темная зала повеселела, а голос Фанни отдавался в душе восьмидесятилетней старухи радостной, веселой, как этот луч, музыкой. Золото заката мало-помалу обратилось в пурпур, и все постепенно окрасилось в грустные предвечерние тона. Баронесса умолкла и погрузилась в то глубокое раздумье, которое уже две недели наблюдала старуха Зефирина.

Она не задала невестке ни одного вопроса, хотя ей очень хотелось узнать, откуда эта печаль. Как и многие слепые, она, казалось, умела читать мысли окружающих, будто они, подобно белым литерам, выступали из книги мрака, ибо в душе слепца каждый звук отдается эхом, несущим разгадку чужих тайн. Слепая старуха, для которой сумерки не были помехой, продолжала вязать, и в зале воцарилась такая глубокая тишина, что слышно было мерное постукивание стальных спиц.

– Вы уронили газету, сестрица, – произнесла пронизательная старуха, – а ведь вы не спите!

Когда совсем стемнело, Мариотта внесла зажженную лампу и поставила ее на стол; затем, как и каждый вечер, она взяла прялку, кудель, пододвинула низенькую скамеечку к окну, выходящему во двор, и начала прясть. Гаслен все еще хлопотал по хозяйству: заглянул на конюшню, где стояли лошади барона и Каллиста, проверил, есть ли в яслях овес, накормил двух прекрасных псов. Их веселый лай был последним звуком, на который откликнулось эхо, спящее в почерневших стенах старого дома. Эти две гончие да пара лошадей – вот и все, что осталось от былой рыцарской пышности дю Геников. Человек, наделенный воображением, присев на каменное крыльцо, невольно поддался бы поэзии минувшего, которое жило под этой ветхой кровлей, и, вероятно, вздрогнул бы, услышав лай охотничьих псов и нетерпеливое ржание коней, бьющих копытом в деннике.

Гаслен был, как и подобает бретонцу, низкорослый, плотный, коренастый и смуглый брюнет, отличался медлительностью движения, молчаливостью и упрямством мула, – такой человек ни за что не свернет с раз предуказанного ему пути. Гаслену исполнилось сорок два года, из которых двадцать пять он прожил у дю Геников. Мадемуазель Зефирина взяла его в дом пятнадцатилетним подростком, ожидая возвращения брата, который в ту пору уже женился на Фанни. Слуга считал себя членом семейства Геников; он играл с Каллистом, любил хозяйских псов и лошадей, холил их и говорил с ними, как с людьми. Зимой и лето он ходил в синей холщовой блузе-расстегайке с небольшими карманами, доходящей до бедер, в таких же штанах и жилете, в синих чулках и грубых башмаках с подковками. В холодную погоду или в дождь он, по местному обычаю, накидывал поверх блузы козью шкуру. Мариотта, которой тоже уже стукнуло сорок, была настоящим Гасленом в юбке. Трудно представить себе более подходящую пару: оба черноволосые, низенькие, у обоих карие пронизательные глазки. Непонятно, как Гаслен и Мариотта не поженились: впрочем,

это показалось бы кровосмешением, ибо они походили друг на друга, как брат и сестра. Мариотта получала тридцать экю в год, а Гаслен сто ливров. Но и за тысячу экю жалованья они не оставили бы дома дю Геников. Оба состояли под началом старой барышни, которая со времени вандейского восстания и вплоть до возвращения брата самовластно управляла домом. Узнав о намерении барона ввести в дом хозяйку, мадемуазель Зефирина огорчилась, что ей придется выпустить из рук бразды правления, передать свои полномочия новой баронессе дю Геник и стать лишь первой из ее подданных.

Каково же было приятное разочарование Зефирины, когда она убедилась, что мисс Фанни о'Брайен рождена для высшего удела, что мелочные заботы по грошовому хозяйству бесконечно претят ей и что, подобно многим возвышенным душам, она предпочитает питаться черствым хлебом, купленным в лавке, чем есть самые вкусные блюда, которые надо готовить своими руками; старуха скоро поняла, что ее невестка, с охотой выполнявшая все самые тягостные обязанности, налагаемые материнством, стойко сносившая все лишения, отступает перед обыденными занятиями. Когда барон попросил сестру от имени жены – сама Фанни не осмеливалась обратиться к золовке с подобной просьбой – по-прежнему вести хозяйство, старая девица нежно расцеловала невестку; она относилась к Фанни, как к родной дочери, она обожала ее и была счастлива, что может по-прежнему полновластно управлять домом, который она и вела твердой рукой, соблюдая по привычке строжайшую экономию, нарушаемую только ради исключительных событий, таких, как роды, кормление малютки Каллиста и, уж конечно, ради самого Каллиста, баловня и кумира всей семьи. Хотя Гаслен и Мариотта привыкли к строгому распорядку дома и без всяких напоминаний пеклись об интересах хозяев больше, чем о своих собственных, – мадемуазель Зефирина неустанно следила за всем. От нее ничто не ускользало: не поднимаясь на чердак, она знала, велика ли груда насыпанных там орехов, и, не запуская в рундук своей жилистой руки, могла сказать, сколько осталось на конюшне овса. У пояса ее казакина висел на шнурке свисток, и она, как боцман на судне, вызывала слуг свистком, одним – Мариотту и двумя – Гаслена.

Величайшей утехой Гаслена был сад, где он прилежно трудился, выращивая прекрасные плоды и столь же прекрасные овощи. Обязанности его были, впрочем, необременительны, и, лишись он своих грядок, он заскучал бы. Почистив на зорьке лошадей, он затем натирал полы и приводил в порядок барские покои в нижнем этаже: больше ему «при господах» нечего было делать. Поэтому самый зоркий глаз не обнаружил бы в саду ни сорной травинки, ни вредного насекомого. Гаслен мог часами стоять неподвижно, не замечая, как пекут его непокрытую голову палящие лучи, – это он выслеживал мышшь-полевку или мерзкую личинку майского жука; поймав наконец свою жертву, которую он подстерегал целую неделю, Гаслен зажимал ее в кулаке и, счастливый, как дитя, бежал к господам похвастаться удачей. Не меньшим удовольствием для него было отправиться в постные дни за рыбой в Круазик, где она была дешевле, чем в Геранде. Можно смело сказать, что редкая семья была так сплочена, дружна и жила в таком добром согласии, как это почтенное и благородное семейство. Казалось, что хозяева и слуги созданы друг для друга. За двадцать пять лет ни разу они не поссорились, ни разу между ними не пробежала черная кошка. Единственным их огорчением были легкие недомогания маленького Каллиста, единственное, что устрасило их – это события 1814 и 1830 годов. И пусть одни и те же действия совершались неизменно в одни и те же часы, пусть одни и те же кушанья сменялись на столе с той же закономерностью, с какой сменяются времена года, однообразие это, подобное однообразию природы, где друг за другом следуют непогода и ведро, покоилось на любви, царившей во всех сердцах, тем более плодотворной и благодетельной, что проистекала она из законов естественных.

Когда совсем стемнело, в залу вошел Гаслен и почтительно осведомился, не понадобится ли он хозяину.

– После молитвы можешь погулять и лечь, – сказал пробудившийся от сна барон, – если только барыня и барышня тебя отпустят.

Обе дамы в знак согласия молча наклонили голову. Гаслен, видя, что хозяева поднялись и стали на колени, тоже преклонил колени. Мариотта пристроилась в молитвенной позе на своей скамеечке. Старая девица дю Геник вслух прочитала молитву; когда смолк ее голос, раздался стук в калитку, выходящую на улочку, Гаслен пошел отпирать.

– Это, наверно, господин кюре; он всегда первым приходит, – заметила Мариотта.

И в самом деле, присутствующие узнали твердые шаги герандского кюре, гулко отдававшиеся во дворе. Кюре почтительно раскланялся с хозяевами и обратился к барону и дамам со словами елейного привета, на что священники такие мастера. Услышав рассеянный ответ Фанни, гость устремил на нее инквизиторский взгляд духовника.

– Уж не больны ли вы, баронесса, или, быть может, вас что-нибудь расстроило? – осведомился он.

– Благодарю вас, так, пустяки, – ответила баронесса.

Господину Гримону шел уже шестой десяток, роста он был среднего; из-под сутаны, мешком сидевшей на нем, торчали огромные туфли с серебряными пряжками, белоснежные брыжи оттеняли жирное, очень белое, но сейчас слегка тронутое загаром лицо. Руки у него были пухлые. Чисто поповской своей физиономией г-н Гримон напоминал и голландского бургомистра – та же невозмутимость, тот же сытый блеск кожи, – и бретонского крестьянина – те же гладкие черные волосы, те же карие глазки, живой блеск которых приглушало христианское смирение. Он любил повеселиться, как человек, у которого совесть чиста, и не чуждался шуток. В нем не было ничего суетливого и желчного, как у тех неудачливых священнослужителей, чей образ жизни или власть, которой они облечены, лишь раздражают прихожан; такие священники не только не умеют стать, по образному выражению Наполеона, духовными наставниками народа и его естественными судьями, но, напротив, вызывают к себе ненависть. Любой путешественник, даже самый завзятый маловвер, встретив г-на Гримона на улицах Геранды, сразу же угадывал в нем правителя сего благочестивого града; но сам правитель безропотно признавал превосходство феодальной власти дю Геников над своим духовным авторитетом. В этой зале он чувствовал себя как капеллан в замке феодального сеньора. В церкви, благословляя паству, он осенял крестным знаменем прежде всего скамью, принадлежавшую дю Геникам, на спинке которой был вырезан их фамильный герб – рука, держащая меч.

– Я думал, что мадемуазель Пеноэль уже пришла, – сказал священник, целуя руку баронессы и усаживаясь подле нее. – Она изменяет своим правилам. А все нынешний рассеянный образ жизни, – ведь и Каллист не вернулся еще из Туша.

– Ничего не говорите об этих визитах при мадемуазель Пеноэль! – тихо воскликнула Зефирина дю Геник.

– Ах, барышня, – вмешалась Мариотта, – да разве запретишь всему городу судачить!

– А что говорят? – осведомилась баронесса.

– Все в один голос твердят, и молоденькие девушки, и старые сплетницы, что наш кавалер влюблен в мадемуазель де Туш.

– Для такого молодца, как наш Каллист, влюблять в себя дам – самое подходящее занятие, – заметил барон.

– А вот и мадемуазель Пеноэль, – объявила Мариотта.

И действительно, гравий во дворе заскрипел под мелкими шажками гостьи, которая явилась в сопровождении слуги, освещавшего ей путь фонарем. Увидев знакомого слугу, Мариотта решила перенести свою прятку в соседнюю залу, чтобы поболтать при свечке, которая горела в фонаре богатой и скупой гостьи, что позволяло экономить свечи дю Геников.

Гостья была сухонькая и тоненькая пожилая девица с серыми глазками, с лицом желтым, как пергамент старых судейских грамот, морщинистым, как волнуемая ветром гладь озера, и по-мужски большими кистями рук; передние зубы ее выдавались; вдобавок мадемуазель де Пеноэль была кривобока, а быть может, и горбата; но никто не хотел знать ее физических достоинств и недостатков. Одевалась она на манер девицы дю Геник, и когда ей требовалось вынуть что-нибудь из кармана, она начинала судорожно шарить в своих шуршащих юбках, которых на ней был добрый десяток. Эти поиски сопровождалась приглушенным перезвоном ключей и серебряных монет. В одном кармане мадемуазель де Пеноэль держала ключи от всех служб и построек, а в другом – серебряную табакерку, наперсток, спицы и прочие звонкие предметы. Но вместо стеганого чепчика, которому отдавала предпочтение девица дю Геник, гостья носила зеленую шляпку и, должно быть, в ней ходила на огород проводить свои дыни, и вместе с этими плодами ее шляпка меняла тон, становясь из зеленой желтого цвета. Такие шляпки были в моде лет двадцать назад и назывались в Париже «биби». Эту шляпку смастерила собственноручно племянница мадемуазель де Пеноэль и, под зорким наблюдением тетки, убрала ее зеленой тафтой, купленной в Геранде; тулья каждые пять лет обновлялась в Нанте, ибо срок носки был строго определен: от одних муниципальных выборов до других. Племянницы сами шили ей платья, следуя раз и навсегда указанному фасону. Старая девица подпиралась тростью с крючком, – такими тросточками щеголяли модницы времен Марии-Антуанетты. Мадемуазель де Пеноэль принадлежала к высшей бретонской аристократии. На ее фамильном гербе были все знаки этого. С ней и с ее сестрой угасал старинный бретонский род Пеноэлей. Младшая Пеноэль была замужем за г-ном Кергаруэтом, который, невзирая на всеобщее негодование, смело присоединил к своему имени славное имя Пеноэлей и звался теперь виконтом Кергаруэт-Пеноэлем.

– Его бог наказал, – любила говорить старая девица, – сыновей-то у него нет, одни дочери; значит, род де Кергаруэт-Пеноэлей все равно угаснет.

Земельные угодья приносили Жаклине де Пеноэль около восьми тысяч ливров годового дохода. Оставшись тридцать шесть лет назад старшей в доме, она самолично вершила дела, объезжала свои владения верхом на лошади и выказывала даже в мелочах непреклонную волю, что, впрочем, свойственно всем горбунам. Ее скупость была известна на десять лье в окрестности и ни в ком не вызвала осуждения. Мадемуазель де Пеноэль держала только одну служанку и слугу-подростка, который сопровождал ее всюду. Тратила она, если не считать налогов, не более тысячи франков в год. Не удивительно, что семейство Кергаруэт-Пеноэлей, проводившее зимы в Нанте, а на лето переселявшееся в имение на берегу Луары, заискивало в старухе. Всем было известно, что весь свой капитал и сбережения Жаклина откажет той из племянниц, которая сумеет ей угодить лучше прочих. Каждые три месяца одна из четырех девиц Кергаруэт, младшей из которых исполнилось только двенадцать лет, а старшей минуло уже двадцать, гостили поочередно у тетки. С тех пор как на свет появился Каллист, Жаклина де Пеноэль, воспитанная в преклонении перед бретонской доблестью дю Геников и дружившая с Зефириной, задумала передать юному барону свои богатства, женив его на одной из своих племянниц Кергаруэт-Пеноэль.

Она намеревалась выкупить лучшие земли дю Геников, расплатившись с «фермерами-залогодателями». Когда скупость ставит себе определенную цель, она уже перестает быть пороком, она становится почти добродетелью, а чрезмерные лишения – непрерывными жертвами; и настоящий скупец, в сущности, лишь вынашивает большие замыслы, скрытые под мелочными проявлениями скарденности. Быть может, Зефирина была посвящена в тайну мадемуазель де Пеноэль. Быть может, и баронесса, все чувства и разум которой поглощала любовь к сыну и нежность к старику мужу, тоже догадывалась кое о чем, – недаром лукавая Жаклина упорно приводила с собой каждый вечер к дю Геникам свою любимую племянницу, пятнадцатилетнюю Шарлотту Кергаруэт. И, уж конечно, в заговоре был и кюре

Гримон, который являлся советчиком старухи по части выгодного помещения капитала. Но, имея мадемуазель де Пеноэль триста тысяч франков золотом – сумма, в которую оценивали ее сбережения; владей она в десять раз большими земельными угодьями, чем теперь, – дю Геники и тогда не сделали бы ни одного жеста, который позволил бы предположить заинтересованность в ее богатстве. Именно из чувства великолепной бретонской гордыни Жаклина Пеноэль с радостью признавала превосходство своей старой подружки Зефирины и вообще семейства дю Геников и всякий раз чувствовала себя крайне польщенной, когда ее удостаивала визитом внучка ирландских королей и ее золовка. А как тщательно скрывала она от друзей, какую жертву приносит им каждый вечер, – ведь, поджидая свою госпожу у дю Геников, ее слуга сжигал по целой свечке цвета пеклеванного хлеба; такие свечи еще и посейчас распространены кое-где на западе Франции. Итак, эта богатая и старая девица была живым олицетворением бретонского дворянства, его гордости и важности. Теперь, когда вы прочли ее описание, узнайте же то, что узнала вся Геранда по вине болтливого кюре Гримона: в тот вечер, когда барон, юный его сын и верный Гаслен, вооруженные саблями и ружьями, отправились в Вандею, к великому ужасу Фанни и к великой радости бретонцев, Жаклина Пеноэль вручила барону десять тысяч ливров золотом, – неслыханная жертва с ее стороны, – и в добавление к ней такую же сумму, собранную в качестве десятины священником; эти деньги старый вояка должен был преподнести матери Генриха V¹⁷ от имени семейства Пеноэлей и герандской паствы. К Каллисту Жаклина относилась как будущая родственница, имеющая на него права; она почитала себя обязанной следить за его нравственностью, и вовсе не потому, что разделяла предубеждение некоторых против холостых проказ, – наоборот, в этом отношении она отличалась снисходительностью старых дам прошлого века; но она трепетала перед злокозненной революционностью новых нравов. Она, пожалуй, простила бы Каллисту шашни с бретонками, зато он сильно повредил бы себе в ее мнении, если бы поддался тому, что она называла новыми веяниями. У Жаклины Пеноэль всегда отыскалась бы небольшая сумма, чтобы откупиться от девицы, соблазненной Каллистом, но она сочла бы юношу мотом и расточителем, увидев его в тильбюри или услышав, что он собирается в Париж. А если бы старая девица застала Каллиста за чтением нечестивых журналов или газет, она натворила бы бог знает что. К новым веяниям она причисляла трехпольный севооборот и вообще «всякий разор» под видом улучшений и нововведений, не говоря уже о закладе поместий, к которому неизбежно приводили подобные опыты. По ее убеждению, разумный человек всегда сумеет разбогатеть; хороший хозяин вовремя свезет в амбары рожь, овес, коноплю и будет упрямо сидеть на мешках, выжидать повышения цен, даже рискуя прослыть спекулянтom. По счастливой случайности ей самой почти всегда удавалось удачно проводить свои коммерческие операции, что еще больше укрепляло мадемуазель де Пеноэль в ее принципах. Ее считали хитрой, в действительности же она была недалекой особой, зато была аккуратна в делах, как голландский купец, осторожна, как кошка, настойчива, как поп, а подобные качества в этом косном краю почитались признаком величайшего глубокомыслия.

– А господин дю Альга нынче будет? – осведомилась старая девица, здороваясь с хозяевами и снимая шерстяные вязаные митенки.

– Непременно придет, сударыня; я его встретил на площади – он прогуливал свою собачку, – ответил священник.

– Значит, сегодня можно будет как следует поиграть в мушку, – продолжала мадемуазель де Пеноэль, – а то вчера пришлось играть вчетвером.

¹⁷ Генрих V – под этим именем монархисты-легитимисты хотели провозгласить Генриха Бурбона, внука Карла X, французским королем.

При слове «мушка» священник поднялся и достал из ящика поставца маленькую круглую корзиночку из ивовых прутьев. Там хранились фишки слоновой кости, ставшие после двадцати лет употребления желтыми, как турецкий табак, и засаленные карты, которыми как будто играли сен-назерские таможенники, а те, как известно, пользуются колодой не меньше двух недель. Священник собственноручно положил перед каждым игроком кучку фишек, поставил корзиночку посреди стола рядом с лампой; по его движениям чувствовалось, что этот невинный обряд он проделывает ежевечерне и с ребяческим нетерпением предвкушает радость игры. В эту минуту кто-то громко, по-военному, постучался, и стук отдался во всех уголках старого дома. Юный слуга девицы Пеноэль торжественно отпер двери. И в сгущавшихся сумерках на пороге вырисовалась длинная, сухая, закутанная фигура кавалера дю Альга, сражавшегося некогда под флагом адмирала Кергаруэта.

– Входите, кавалер! – громко воскликнула мадемуазель Пеноэль.

– Алтарь воздвигнут... – провозгласил священник.

Кавалер дю Альга отличался слабым здоровьем и посему носил фланелевое белье, предохранявшее его от ревматизма, черную шелковую ермолку, в защиту от вредоносного тумана, и теплую фуфайку, которая должна была уберечь его драгоценную грудь от шквалов, внезапно налетающих на Геранду. Он не расставался с толстой палкой, увенчанной золоченым набалдашником, и с ее помощью разгонял псов, которые имели неосторожность не вовремя сунуться к его любимой собачке. Этот человек, холивший себя, как самая завязатая щеголиха, терявшийся перед малейшим препятствием, говоривший полушепотом, чтобы не утруждать надорванных связок, был некогда одним из самых неустрашимых и искусных моряков французского флота. Его удостаивал своим вниманием балли де Сюфрен и своей дружбой граф де Портандюэр. О мужественном поведении кавалера на посту капитана в эскадре адмирала Кергаруэта красноречиво гласили шрамы, бороздившие его лицо. Сейчас никто бы не поверил, что много лет назад этот голос перекрывал завывания бури, что этот взгляд витал над морями, что в этой груди жила неукротимая отвага бретонского моряка. Кавалер не курил, никогда не произнес бранного слова; он был невозмутим и кроток, как юная дева, и по-старушечьи терпеливо возился со своей любимой Тисбой, потакая всем ее собачьим прихотям. Кавалер дю Альга был самым высоким воплощением любезных нравов, давно отошедших в прошлое. Он никогда не упоминал о своих необычайных подвигах, которые в свое время удивляли самого графа д'Эстена. И хотя кавалер казался немощным и бережно нес свое тело, словно боялся разбиться, хотя он сетовал на ветер, зной и туман, его улыбка и поныне обнажала великолепные белые зубы и ярко-красные десны; должно быть, не так уж был опасен недуг г-на дю Альга, хотя и обходился недешево самому больному, ибо требовал не менее четырех, по-монастырски обильных, трапез в день. Его несокрушимо мощное и костистое, как у барона дю Геника, тело обтягивала пергаментно-желтая кожа, под которой выступали мышцы, как выступает под блестящей кожей арабского коня переливающаяся на солнце сетка сухожилий. Его лицо еще сохранило индийский загар, но это был единственный след путешествия в Индию, откуда он не вывез ни единой мысли, ни единого воспоминания. Он эмигрировал, потерял все свое состояние, впоследствии был награжден орденом Святого Людовика и получал пенсию в две тысячи франков, как моряк-инвалид. Мнительность, заставлявшая его изобретать тысячи воображаемых недугов, объяснялась бездействием старости. Он служил в русском флоте вплоть до того дня, когда император Александр решил употребить его в деле против Франции; тогда дю Альга подал в отставку и поселился в Одессе при герцоге Ришелье; с ним он и возвратился на родину; герцог помог сему почтенному потомку старинных бретонских моряков выхлопотать пенсию. После смерти Людовика XVIII кавалер дю Альга вернулся в родные места и стал мэром Геранды. В течение пятнадцати лет священник, кавалер и девица де Пеноэль проводили вечера в доме дю Геников, где, кроме них, собиралось несколько представителей городской

и окрестной знати. Нетрудно представить, что семейство дю Геников возглавляло Сен-Жерменское предместье Геранды, и ни одно должностное лицо, назначенное новым правительством, не смело переступить порог этого дома. Последние шесть лет кюре Гримон, провозглашая в церкви «боже, спаси короля», каждый раз кашлял, запнувшись на столь щекотливом месте молитвы. Дальше этого герандские политики не шли.

При игре в мушку сдается по пяти карт и оставляется прикуп. По прикупу назначают козырей. В каждом круге игрок волен делать ставку или воздержаться. Воздерживаясь от игры, он теряет только свой взнос, ибо, пока не делаются ставки, каждый игрок ставит лишь небольшую сумму. Игрок должен взять не меньше одной взятки, которая оплачивается в соответствии с банком. Если в корзине, скажем, имеется пять су, то взятка дает одно су. Игрок, не взявший ни одной взятки, проигрывает мушку; в этом случае он вносит ставку, равную всей сумме банка, что увеличивает банк на следующий круг. Записываются все проигранные мушки; их кладут в корзиночку одну за другой в зависимости от стоимости, сначала большую, потом мелкие. Те игроки, которые не участвуют в данном круге, тоже ходят, но их карты в счет не идут. Нижнюю карту прикупа подменивают, как в экартэ, но в порядке достоинства. Каждый игрок берет из колоды столько карт, сколько хочет, причем сидящие по руке два первых игрока могут взять хоть всю колоду. Прикуп принадлежит сдающему, который играет последним; он имеет право обменять свои карты на прикуп. Одна из карт называется «мистигри» и побивает все остальные карты. Обычно мистигри – трефовый валет. Игра эта при ее исключительной простоте довольно занимательна. В ней проявляется и присущая человеку алчность, и его дипломатические таланты, не говоря уже о богатстве мимики. У дю Геников каждый партнер брал обычно по двадцать фишек и вносил за них пять су, так что ставка не превышала пяти лиаров на круг – сумма непомерная в глазах наших игроков! При самой баснословной удаче счастливцев мог выиграть пятьдесят су, а в Геранде никто не расходовал в день таких капиталов. Охотник, идущий по следу зверя, не так увлечен своей страстью, как бывала увлечена девица Пеноэль, когда садилась за мушку – эту невиннейшую из карточных игр, если верить Академии, которая ставит мушку на второе место после безобидного «дурака». С не меньшим пылом отдавалась игре и мадемуазель Зефирина, игравшая в половинной доле с баронессой. Поставить один лиар и разом взять впятеро большую сумму, – да это для старой скопидомки была крупнейшая финансовая операция, и она вкладывала в нее все силы своей души, подобно биржевику, играющему на понижение и повышение процентных бумаг. После рокового случая, происшедшего в сентябре 1825 года, когда девица де Пеноэль за одну партию проиграла тридцать семь су, было заключено дипломатическое соглашение: игра прекращалась по желанию игрока, проигравшего десять су. Вежливость требовала в таком случае немедленно оставить карты, чтобы не мучить незадачливого партнера, иначе ему пришлось бы смотреть сложа руки, как играют другие. Но каждой страсти присуще коварство. Кавалер дю Альга и барон в качестве испытанных политиков нашли способ обойти суровый закон. Когда игрокам не терпелось продолжить увлекательную партию, неустрашимый кавалер дю Альга, принадлежавший к породе расточительных холостяков, которые ничего не расточают, неизменно предлагал десять фишек девице Пеноэль или Зефирине, если те проигрывали свои положенные пять су, при условии, что они вернут долг в случае удачи. Старый холостяк мог позволить себе подобную любезность в отношении старых барышень. В свою очередь, и барон в критическую минуту ссужал обеих девиц фишками, – ради того, уверял он их, чтобы партия продолжалась. Обе скупердяйки соглашались принять фишки только после долгих уговоров и просьб, как и подобает порядочным девицам. На такую расточительность барон и кавалер решались только после выигрыша, без чего их дар мог бы показаться дамам оскорбительным. Партия мушки приобретала особый блеск, когда тетка приводила с собой одну из девиц Кергаруэт – именно Кергаруэт, ибо здесь никто не присоединял к имени Керга-

руэтов славное имя Пеноэлей, в том числе и слуги, коим на этот счет был дан особый приказ. Тетка внушала племяннице, что играть в мушку у дю Геников – ни с чем не сравнимая честь и наслаждение. Девушке раз навсегда было предложено вести себя здесь особенно почтительно, что, впрочем, достигалось ею без труда: один вид прекрасного Каллиста сводил с ума всех четырех барышень Кергаруэт. Эти юные особы, воспитанные вполне в духе современной цивилизации, не придавали никакого значения проигрышу в пять су и ремизились без конца. Именно в такие вечера случались знаменитые мушки, когда банк возрастал до ста су и каждая ставка подымалась с двух с половиной су до десяти. Для слепой Зефирины это были вечера незабываемых, волнующих переживаний. Взятка в Геранде называлась «взятком». Баронесса тихонько толкала под столом золотку столько раз, сколько, по ее мнению, было верных взяток. Играть или не играть, – особенно когда корзиночка полна, – вот какой вопрос терзал душу игроков, разрывавшихся между алчностью и страхом! «А вы ходите?» – спрашивал сосед соседа в отчаянии, что должен воздерживаться, тогда как счастливцу привалила богатая карта. Если Шарлотта Кергаруэт, которую все дружно упрекали в безумии, выигрывала именно благодаря своей смелой игре, тетка, возвращаясь с ней домой, особенно если сама была в проигрыше, держалась с племянницей подчеркнуто холодно и всю дорогу читала ей нравоучения: Шарлотта слишком самоуверенна, юная девица не должна так дерзко вести себя с людьми почтенными; противно смотреть, как она бесцеремонно хватается за корзиночку или швыряет на стол карты; порядочной девице пристали скромность и сдержанность; очень неприлично смеяться над чужим несчастьем и т. д. и т. д. Тысячу раз в году повторялись одни и те же шутки, не терявшие своей прелести для игроков, а именно: на какой тройке увезти переполненную корзиночку – на тройке волов, слонов, мулов, ослов, собак? И хотя острили на эту тему в течение целых двадцати лет, никто не замечал, что шутки не новы. Каждое упоминание о тройке вызывало улыбки. Существовали также особые словечки, которые выражали досаду по поводу того, что, мол, ставил-ставил, а другой взял да и забрал полную корзинку. Карты тасовались и раздавались с бесстрастной медлительностью. Говорили вполголоса. Эти достойные и благородные особы имели милую слабость – они не особенно доверяли соседу и зорко следили за каждым чужим ходом. Девица Пеноэль всякий раз, когда выигрывал кюре, во всеулышание заявляла, что он плутует.

– Странное дело, – возражал тот, – почему это, когда я проигрываю, вы не говорите, что я плутую.

Прежде чем положить на стол карту, каждый игрок долго рассчитывал, прикидывал, бросал на соседа проницательный взгляд, делал тонкие и глубокомысленные замечания. Не скроем, партнеры нередко прерывали игру и начинали обсуждать последние герандские события или спорили о политике. Иной раз, увлекшись разговором, они болтали чуть не полчаса, плотно прижимая к груди распущенные веером карты. Если после такого перерыва вдруг обнаруживалось, что в банке не хватает фишки, каждый спешил уверить, что он свою ставку давно поставил. Почти всегда в этом преступлении обвиняли кавалера: фишку не поставил именно он, – конечно, задумался о своих мигренях, шуме в ушах, о ревматизмах. Когда же кавалер безропотно ставил фишку, девица Зефирина или коварная горбунья вдруг впадали в раскаяние: им начинало казаться, что не кавалер, а они сами забыли поставить фишку, обе принимались высчитывать, соображать, но в конце концов, решали они, кавалер достаточно богат и как-нибудь перенесет это несчастье, тем паче что оно не так уж велико. А когда заговаривали о злключениях, выпавших на долю королевской семьи, барон начинал сбрасывать не те карты. Иногда результат игры удивлял всех партнеров, в равной мере рассчитывавших на выигрыш: после известного количества партий каждый отыгрывал свои фишки и, ссылаясь на позднее время, уходил домой, ничего не выиграв и ничего не проиграв, но зато наволновавшись вволю. В такие трагические вечера на несчастную мушку сыпались тысячи упреков: ну уж и мушка! Скучнейшая игра! Игроки обвиняли мушку

подобно тому, как дикари в бурю секут отражение луны в воде. И вечер-то прошел бесцветно. Сидели-сидели, и все зря. Когда в свое первое посещение Геников виконт и виконтесса Кергаруэт стали превозносить вист и бостон и хулить неинтересную мушку, баронесса, которой мушка до смерти надоела, попросила их показать новые игры, и наши игроки, поворчав немного, сели за стол. Но оказалось, что растолковать герандцам правила новомодных игр невозможно; когда чета Кергаруэтов удалилась, весь кружок в один голос заявил, что вист и бостон – головоломка, путаница, хуже всякой алгебры. И все единодушно сошлись на том, что их мушка, их славная, их миленькая мушка – самая интересная игра. Так мушка одержала верх над современными играми, – впрочем, как мы уже знаем, во всей Бретани старое торжествовало над новым.

Пока священник сдавал карты, баронесса расспрашивала кавалера дю Альга о здоровье совершенно в тех же выражениях, что и накануне. Кавалер считал за доблесть приобретение новых недугов. Вопросы баронессы оставались неизменными, зато ответы кавалера были до чрезвычайности разнообразны. Сегодня, например, он жаловался на печеночные колики. Но, удивительное дело, достойный кавалер никогда не вспоминал о своих ранах! Он прекрасно знал свои подлинные недуги и примирился с ними. Зато его тревожила всякая чертовщина: то у него раскалывался от боли череп, то мучила «грызь в животе», то в ушах стоял страшный звон; он считал свои страдания неизлечимыми, тем более что ни один врач не мог прописать никакого лекарства против несуществующих болезней.

– Помнится, вчера вас беспокоила ломота в ногах? – с серьезным видом осведомился священник.

– Сегодня здесь болит, а завтра уже в другом месте. Как будто переходит, – ответил кавалер.

– Значит, у вас колики теперь перешли в печеньку? – вмешалась девица Зефирина.

– А на полпути они не задерживаются? – спросила, улыбаясь, мадемуазель де Пеноэль.

Кавалер важно склонился перед дамами, отрицательно помахав ручкой; этот забавный жест сказал бы опытному наблюдателю, что в молодости моряк был весел и умен, много любил и был любим. Быть может, ныне, закоснев в герандской глуши, он предавался воспоминаниям. И когда кавалер дю Альга нелепо, как цапля, торчал посреди площади, не замечая палящего зноя, и мечтательно любовался морским прибоем или же следил за игрой своей любимой собачки, кто знает, в эту минуту он, быть может, жил в земном раю минувших лет?

– Значит, старый герцог Ленонкур скончался? – сказал барон, вдруг вспомнив статью из «Котидьен», среди чтения которой он заснул. – Итак, первый слуга короля последовал за своим господином. Скоро и я присоединюсь к ним.

– Полно, друг мой! – воскликнула баронесса, нежно поглаживая костлявую, жилистую руку мужа.

– Пусть себе говорит, сестрица, – вмешалась Зефирина, – пока я здесь, он не будет там; он ведь младший.

Веселая улыбка пробежала по губам старой девицы. Когда барон высказывал подобные мысли, игроки и гости взволнованно переглядывались, их беспокоила постоянная грусть властителя Геранды. Люди, навещавшие дю Геников, расходясь по домам, печально переговаривались: «Господин дю Геник что-то загрустил. Вы заметили, он все время дремлет?» И на следующее утро вся Геранда обсуждала это происшествие: «Барон дю Геник слабеет!» Такой фразой начинались все разговоры в каждом герандском доме.

– А как ваша Тисба? – спросила кавалера дю Альга девица дю Пеноэль, когда карты были сданы.

– И не говорите! Бедная собачка не лучше своего хозяина, – ответил кавалер, – у нее тоже больные нервы, она, когда бежит, все подымает ножку. Вот так, посмотрите!

Желая представить, как собака подымает лапку, кавалер вывернул и вздернул локоть, открыв все свои карты сидевшей рядом с ним горбунье, которая воспользовалась благоприятным случаем, чтобы разглядеть, нет ли у соседа мистигри или туза. Кавалер впервые попался в ловушку, подставленную ему лукавой девицей.

– Смотрите-ка, – произнесла баронесса, – у господина Гримона кончик носа побелел, значит, у него мистигри.

Радость священника, которому пришел мистигри, была столь велика, что он не мог ее скрыть, как, впрочем, и все остальные игроки. Каждый человек движением бровей, век или губ выдает свои душевные волнения, и наши игроки, привыкшие наблюдать друг за другом, обнаружили наконец слабое место священника: когда к нему приходил мистигри, у него действительно бледнел кончик носа. В таких случаях партнеры опасались играть.

– А к вам кто-нибудь заходил сегодня? – спросил кавалер у мадемуазель де Пеноэль.

– Да, заходил. Двоюродный брат моего зятя. Он меня удивил: сказал, что графиня де Кергаруэт, в девичестве де Фонтэн, выходит замуж.

– Дочь «Большого Жака»! – воскликнул кавалер, который во время своего пребывания в Париже не отходил от адмирала.

– Графиня его наследница, она вышла замуж за бывшего посланника. Кузен еще рассказал мне удивительные вещи про нашу соседку мадемуазель де Туш, такие вещи, что я просто верить не хочу. Если бы это было правдой, Каллист не ходил бы к ней каждый день. Слишком он умен, чтобы не заметить все эти ужасы!

– Ужасы? – спросил барон, очнувшись при этом слове от своей дремоты.

Баронесса и кюре обменялись понимающим взглядом, карты были сданы, мистигри на сей раз пришел к старой девице, и она не пожелала продолжать разговор, радуясь, что может скрыть свое торжество под общим замешательством, вызванным ее словами.

– Вам ходить, барон, – сказала она.

– Мой племянник не похож на нынешних молодых людей, он не любит разных ужасов, – произнесла старуха Зефирина, почесывая спицей голову.

– Мистигри! – вскричала девица де Пеноэль, пропустив мимо ушей замечание своей подружки.

Священник, который, казалось, был посвящен в тайну отношений Каллиста и мадемуазель де Туш, решил не вмешиваться в разговор.

– А что же она делает такого необычайного, эта мадемуазель де Туш? – осведомился барон.

– Курит! – отрезала девица де Пеноэль.

– Что ж, это полезно для здоровья, – возразил кавалер.

– А ее имения? – осведомился барон.

– Имения? – переспросила старая дева. – Она их проедает.

– Не стоит играть, конечно! Все обремизились, у меня на руках козыри, король, дама и валет, мистигри и еще один король, – сказала баронесса. – Мы выиграли, сестрица.

Этот выигрыш без игры сразил девицу де Пеноэль, которая сразу забыла и про Каллиста, и про мадемуазель де Туш. В девять часов в зале остались только баронесса и кюре. Старики пошли спать. Кавалер дю Альга отправился, по обыкновению, провожать де Пеноэль до ее дома, стоявшего на главной площади Геранды; по дороге он делал глубокомысленные замечания насчет тонкого хода, принесшего выигрыш баронессе, насчет удачи и невезения, насчет того, как мадемуазель Зефирина с нескрываемым удовольствием прячет в карман выигранные деньги, – ведь уже давно лицо слепой старухи с полной откровенностью выражало ее радость и огорчения. Поговорили они и об озабоченном виде баронессы. Кавалер подметил, что прелестная ирландка была нынче крайне рассеяна. У дверей дома, когда мало-

летний слуга поднялся наверх, старая девица доверительно сообщила кавалеру дю Альга причину беспокойства г-жи дю Геник:

– Я-то знаю, почему она беспокоится. Если Каллиста немедленно не женят, он погиб. Он влюблен в мадемуазель де Туш, в эту актерку.

– В таком случае немедленно вызывайте Шарлотту.

– Я уже написала сестре – она завтра получит мое письмо, – ответила мадемуазель де Пеноэль, прощаясь с кавалером.

Теперь, когда вы провели обычный вечер в герандском доме, судите же сами, какой переполох должен был вызвать среди жителей этого славного града приезд, отъезд или просто случайное появление незнакомого лица.

Когда все стихло в спальне барона и в комнате его сестры, г-жа дю Геник взглянула на священника, который задумчиво складывал кучками фишки.

– Я вижу, – начала она, – что теперь и вы разделяете мои опасения относительно Каллиста.

– А вы заметили, как раздражительна была нынче мадемуазель де Пеноэль? – спросил священник.

– Конечно, заметила.

– Мадемуазель де Пеноэль, – продолжал священник, – питает самые лучшие намерения относительно вашего милого Каллиста, она любит его, как родного сына; а его поведение в Вандее, где он сражался бок о бок с отцом, лестные отзывы королевы-матери удесктерили ее привязанность к Каллисту. Она откажет все свое имущество той из племянниц, на которой Каллист женится. Я прекрасно понимаю, что в Ирландии вы могли бы найти для вашего любезного Каллиста куда более выгодную партию, но запас, как говорится, денег не просит. В том случае, если вашей родне не удастся устроить брак Каллиста, не следует пренебрегать капиталами мадемуазель де Пеноэль. Вы без труда найдете для нашего общего любимца невесту, которая принесет ему годовую ренту в семь тысяч ливров; но вряд ли вам удастся отыскать где-либо сбережения за целых сорок лет да еще в придачу поместья, благоустроенные, прекрасно управляемые и в таком безупречном порядке, как земли де Пеноэлей. А вдруг эта нечестивая женщина, эта де Туш, все дело испортит! Но, слава богу, мы знаем теперь о ней все.

– Что же именно? – спросила баронесса.

– Это распутница, – вскричал священник, – женщина более чем сомнительного поведения, она сочиняет для театра, помешана на актерах и актрисах, она проедает свое состояние вместе со всеми этими писаками, художниками, музыкантами, с самим нечистым! Она печатает свои книги под псевдонимом и больше известна под чужим именем, чем под своим собственным – Фелисите де Туш. Да что и говорить, просто шутиха какая-то! Со времени первого причастия она в церкви ни разу не показывалась, а если и заходила случайно, так, вместо того чтобы молиться, любовалась статуями и живописью. Все деньги она истратила, лишь бы придать блеск своему поместью, но какой же это блеск! Срамота, магометанский рай какой-то, только гурии там мужского пола. Там за один месяц выпивают дорогих вин больше, чем во всей Геранде за целый год. В прошедшем году девицы Буньоль пустили к себе на квартиру ее гостей – каких-то бродяг с козлиными бородами; хорошо еще, если они не синие. Соберутся и целые дни распевают непристойные песни. Добродетельные девицы Буньоль прямо плакали от стыда. Вот предмет страсти юного кавалера дю Геника! Если этой твари придет сегодня в голову купить какую-нибудь нынешнюю мерзкую книгу, в которой безбожники высмеивают все и вся, наш Каллист оседлает лошадь и поскачет хоть в Нант, а вряд ли он проявил бы такое рвение ради святой церкви. К тому же эта бретонка – не роялистка. Если б понадобилось послужить ружьем правому делу, эта мадемуазель де Туш (да,

вспомнил теперь: она пишет под мужским именем («Камилл Мопен») захочет удержать его при себе, и он преспокойно допустит, чтобы старик отец один отправился в поход.

– Не думаю, – промолвила баронесса.

– Я вовсе не желаю подвергать его испытанию, – возразил священник, – это причинило бы вам слишком чувствительные муки. Вся Геранда взбудоражена. Еще бы, наш кавалер дю Геник влюблен в эту, в этого... не поймешь, не то женщину, не то в мужчину; она ведь курит, как гусар, пишет, как газетчик, у нее гостит сейчас самый вредный из нынешних писак, – так, по крайней мере, уверяет директор почты, а он ведь наш первый умник, журналы читает. В Нанте об этом уже известно. Нынче утром этот самый кузен де Кергаруэт, который нашел Шарлотте жениха с шестьюдесятью тысячами ливров годового дохода, просидел семь часов у мадемуазель де Пенозль и совсем расстроил ее своими рассказами о мадемуазель де Туш. Слышите, бьет десять, а Каллиста все нет, – он в Туше, и кто знает, может быть, вернется только под утро.

Баронесса молча слушала священника, который, сам того не замечая, разглагольствовал один, не давая своей собеседнице вымолвить ни слова; время от времени он взглядывал на Фанни дю Геник, прекрасное лицо которой отражало мучившие ее мысли. Баронесса то вспыхивала, то бледнела, ее была нервная дрожь. Когда г-н Гримон заметил, что в голубых ее глазах показались слезы, он смягчился:

– Не беспокойтесь, я завтра же увижусь с мадемуазель де Пенозль, – сказал он, стараясь утешить огорченную мать, – быть может, беда еще не так велика, я разужу всю правду. Ведь мадемуазель Жаклина мне верит. К тому же Каллист – наш воспитанник, и он не поддастся чарам демона. Он не захочет смутить ваш покой, он не позволит себе разрушить планы, которые мы строим насчет его будущего. Не плачьте, прошу вас, ведь не все потеряно: помните, ошибка еще не преступление.

– Все это лишь подробности, а главное я и без того знаю, – возразила баронесса. – Ведь я первая заметила, как изменился Каллист. Спросите любую мать, и она скажет вам, как невыносимо горько быть второй в сердце собственного сына, как печально делить его с кем бы то ни было. Я знала, что эта пора в жизни юноши всегда тяжелое испытание для чувств матери, и все же никогда не думала, что все это наступит так скоро. Пусть бы сердцем Каллиста овладело благородное и прелестное создание, но только не эта шутиха, не эта актерка, писательница, привыкшая играть и притворяться, скверная женщина, которая обманет и погубит моего сына. Ведь у нее, наверно, были приключения?

– Да не с одним, а со многими, – подтвердил г-н Гримон. – И подумать только, что эта нечестивица рождена под небом Бретани! Она опозорила свою родину. В следующее воскресенье я изобличу ее в проповеди.

– Не делайте этого! – воскликнула баронесса. – Наши болотари, наши крестьяне, чего доброго, пойдут приступом на поместье Туш. Каллист не уронит имени дю Геников, он истинный бретонец, и если он в это время окажется в Туше, может произойти несчастье, – ведь он будет защищать ее, как пресвятую деву.

– Уже одиннадцатый час, позвольте пожелать вам доброй ночи, – сказал аббат, зажигая фонарь с чисто промытыми стеклами и ярко начищенной крышкой, что свидетельствовало о неизменной заботливости его домоправительницы. – Кто бы мог поверить, – добавил он, – что молодой человек, ваш родной сын, мой ученик, воспитанный в строгих заветах христианства, пламенный католик, невинное дитя, наш непорочный агнец, и вдруг попал в такую трясины...

– Да верно ли это? – спросила баронесса. – Впрочем, как может женщина не влюбиться в Каллиста?

– И вам еще нужны доказательства? Ведь недаром эта колдунья зажилась тут. Помните-ка, она впервые за двадцать лет, прошедшие со дня ее совершеннолетия, так долго оста-

ется в своем поместье. К счастью для нас всех, она наезжала раньше в наши края только на короткий срок.

– Женщина в сорок лет! – произнесла баронесса. – Помнится, мне еще в Ирландии говорили, что сорокалетняя женщина самая опасная любовница для молодого человека.

– Ну, в таких делах я не сведущ, – возразил священник. – И умру несведущим.

– Увы, и я тоже! – наивно воскликнула баронесса. – Вот когда мне хотелось бы знать, что такое страстная любовь! Тогда бы я могла следить за Каллистом, утешать его, дать ему нужный совет.

Аббат пересек маленький опрятный дворик; провожавшая его баронесса задержалась у ворот, все еще надеясь услышать на герандских улицах легкую походку Каллиста; но тишину спящего города нарушали только размеренные шаги священника, да и они постепенно затихли вдаль; стук двери, захлопнувшейся в доме аббата, был последним звуком, долетевшим до баронессы. Несчастливая мать печально возвратилась в залу; ей была невыносимо тяжела мысль, что весь город знает ее тайну. Она подрезала старыми ножницами фитиль чадившей лампы, уселась в кресло и взялась за вышивание, как всегда, когда поджидала сына. Она надеялась, что ее Каллист не захочет, чтобы мать ждала его, не спала по ночам, и не станет засиживаться у мадемуазель де Туш. Но тщетны были ревнивые расчеты материнского сердца. Каллист все чаще и чаще посещал Туш и все позже и позже возвращался домой: не далее как вчера он вернулся только в полночь. Баронесса, погруженная в материнские заботы, клала стежок за стежком с той старательностью, с какою работают люди, всецело занятые своими мыслями. Как хороша была эта женщина, склонившаяся над канвой при свете старой лампы, слабо освещавшей высокие своды, которым минуло четыреста лет! У Фанни было такое ясное, светлое лицо, такой редкостной прозрачности кожа, что, казалось, сквозь этот тончайший шелк просвечивают все ее мысли.

Иногда ее, как всех безупречно честных женщин, вдруг охватывало острое любопытство, и она пыталась понять, какими же дьявольскими чарами эти дочери Ваала обольщают мужчин, вытесняя из их помыслов мать, семью, родину, дела! Иногда ей даже хотелось повидать эту женщину, поговорить с нею, узнать ее ближе. Фанни старалась измерить разрушительную силу современного духа, – столь опасного для юношества, по словам священника, – понять, что угрожает ее единственному сыну, столь чистому и непорочному, что самая прекрасная девушка не могла сравниться с ним.

Каллист, этот блистательный отпрыск старинной бретонской семьи, в жилах которого текла и благородная ирландская кровь, воспитывался под неусыпным наблюдением матери. Баронесса была уверена, что до того дня, когда она передала Каллиста герандскому священнику, ни одно дурное слово, ни одна нечистая мысль не коснулась слуха и души ее мальчика. Мать, вскормившая грудью сына и, так сказать, дважды отдававшая ему свою кровь, вручила целомудренного, как девочка, Каллиста пастырю, а тот, глубоко почитая семейство дю Геников, обещал дать ему вполне христианское воспитание. Аббат Гримон передал Каллисту все познания, полученные им в семинарии. Баронесса обучила его английскому языку. Среди чиновников Сен-Назера не без труда подыскали учителя математики. Каллист остался в полном неведении касательно современной литературы, равно как прогресса и распространения современных знаний.

Его образование ограничилось изучением географии и истории в пределах, установленных для женских пансионов, он знал латынь и греческий язык в объеме курса семинарий, а также древнюю литературу и кое-какие избранные произведения французских писателей. На семнадцатом году, когда Каллист приступил к изучению того, что аббат Гримон называл философией, он был так же чист, как и в тот день, когда Фанни впервые привела его к священнику. Церковь стала ему второй матерью. Не будучи ни ханжой, ни маньяком, этот прекрасный юноша был ревностным католиком. Баронесса мечтала устроить своему невин-

ному и прекрасному Каллисту счастливую, тихую и безбедную жизнь. Она надеялась получить от старой тетки наследство в две-три тысячи фунтов стерлингов, а может быть, и клочок земли. При таких средствах плюс состояние дю Геников Каллист мог найти себе жену, которая принесла бы ему двенадцать – пятнадцать тысяч ливров годового дохода. А будет ли это Шарлотта де Кергаруэт, которой старуха тетка откажет свои капиталы, или состоятельная ирландка, или еще какая-нибудь богатая наследница, не все ли равно? – думала Фанни дю Геник; не познав любви в своей жизни, она, как и все ее окружавшие, видела в женитьбе лишь путь к благосостоянию. Страсть оставалась неведомой верующим людям прошлого века, все их помыслы устремлялись к богу, к королю, а главной их заботой было спасение души и приумножение достатков. Итак, не удивительно, что самые практические мысли жили бок о бок с материнской обидой, и сердце матери вмещало и заботу о материальном благополучии сына, и безграничную к нему нежность. Если бы молодая чета вняла голосу мудрости, то новое поколение дю Геников, отказывая себе во всем, скопидомничая, как умеют скопидомничать только в провинции, могло бы выкупить земли и вернуть былое богатство. Баронесса надеялась прожить достаточно долго, чтобы самой увидеть, как заря благосостояния забрезжит над дю Гениками. Девица дю Геник вполне одобряла планы своей невестки, которые нынче грозила разрушить мадемуазель де Туш. Пробыло полночь, баронесса тоскливо вслушивалась в бой часов, и долго еще она томилась черными мыслями, ибо Каллист все не возвращался.

«Неужели он остался там? – думала она, – Этого никогда еще не было. Бедное, бедное мое дитя!»

В это время на затихшей улице гулко раздались шаги Каллиста. Баронесса, забыв свои недавние волнения, радостно бросилась в переднюю и отперла сыну.

– Как! Вы, маменька, еще не спите? – воскликнул огорченный Каллист. – Зачем же вы меня ждете? Ведь у меня есть ключ и огниво.

– Ты же знаешь, голубчик, что, пока ты не вернешься, я не усну, – сказала она, целуя сына.

Вернувшись в залу, мать пристально посмотрела на Каллиста, стараясь угадать по выражению его лица, что происходило нынче вечером, но всякий раз при виде Каллиста ее охватывало огромное волнение, и годы и привычка тут были бессильны. Это чувство испытывает каждая мать при виде того ни с чем не сравнимого сокровища, которое она сама произвела на свет и от которого всякий раз сладко замирает ее сердце.

От отца Каллист унаследовал только черные глаза, сверкавшие энергией, а прекрасные белокурые волосы, орлиный нос, рот очаровательного рисунка, тонкие пальцы и ослепительный цвет лица, белизна кожи и нежный вид достались ему от матери. И хотя Каллист напоминал переодетую в мужской наряд девушку, он обладал силой Геркулеса. Его мышцы были гибки и крепки, как стальная пружина, а выразительные глаза таили в себе какое-то очарование. Борода и усы у него еще не росли. Говорят, что эта запоздалая мужественность – примета долголетия. На юном бароне был недлинный черный бархатный сюртук из той же дорогой материи, что и платье Фанни, застегивающийся на крупные серебряные пуговицы; он носил голубой шейный платок, высокие изящные гетры и панталоны из светло-серого тика. Белоснежный лоб уже отражал, казалось, усталость, но это были лишь следы печальных дум. Мать, неспособная понять тревоги, пожиравшие сердце Каллиста, решила, что эта тень, набегавшая на чело сына, – свидетельство пережитого счастья. Но даже и сейчас Каллист был прекрасен, как юный греческий бог, и в нем не чувствовалось ни капельки фатовства: во-первых, он привык видеть перед собой красавицу мать, а кроме того, очень мало думал о своей красоте, так как считал, что она бесполезна.

«Неужели, – думала мать, – эти прелестные щеки столь чистых очертаний, неужели эта нежная кожа, под которой играет и переливается из жилки в жилку молодая и горячая кровь,

неужели они принадлежат чужой женщине и ей покорилось это непорочное, девичье чело. Страсть замутил эту спокойную гладь и погасит блеск его влажных, чудесных, как у ребенка, глаз!»

Горькие думы, от которых сжималось сердце баронессы, отравили радость встречи с сыном. Людям положительным, умеющим считать чужие расходы и доходы, быть может, покажется странным, что семья из шести человек жила на годовой доход в три тысячи франков, а между тем сын носил бархатный сюртук, у матери было платье из бархата. Но у Фанни о'Брайен были в Лондоне богатые тетки и прочие родственники, которые время от времени, вместе с весточкой о себе, посылали ей в Бретань дорогие подарки. Сестры ее, вышедшие замуж за состоятельных людей, живо интересовались судьбой Каллиста и подыскивали ему богатую невесту, так как знали, что он столь же прекрасен и благороден, как прекрасна и благородна его мать, их любимица, их изгнанница Фанни.

– Нынче ты еще позже вернулся из Туша, чем вчера, – произнесла наконец баронесса взволнованным голосом.

– Да, маменька, – ответил он.

Этот сухой и краткий ответ омрачил белоснежное чело баронессы, но она сочла разумным отложить объяснение до утра. Когда мать испытывает беспокойство, подобное тому, какое охватило в эти минуты баронессу, она дрожит в присутствии сына, она инстинктивно чувствует, что лишается своего детища, что его уводит от нее сила любви, но в то же время она испытывает и радость при мысли, что сын ее счастлив: в сердце матери идет в такие минуты борьба. И хотя из этих испытаний сын выходит мужчиной, взрослеет, мужает, любящей матери всегда тяжело это первое отречение от своей власти: ей во сто крат милее ее дитя слабым и беззащитным. Быть может, именно поэтому матери особенно нежно любят болезненных, незадачливых, некрасивых детей.

– Ты устал, мой мальчик, иди ложись, – произнесла баронесса, с трудом сдерживая слезы.

Когда мать не может уследить за поступками сына, ей кажется, что все погибло, особенно если она обожает свое дитя и горячо любима им. Возможно, всякая другая мать была бы взволнована не меньше, чем баронесса. Двадцать лет безропотных лишений могли пойти прахом. Ее сын, ее дорогой Каллист, это совершенство в образе человека, это чудо разумного, благородного и религиозного воспитания, стоял на краю пропасти, счастье всей ее жизни могла разрушить рука женщины.

На следующий день Каллист спал до полудня, так как баронесса запретила его будить; Мариотта подала завтрак своему любимчику в постель. Строго, как в монастыре, установленные часы завтраков и обедов нарушались только в угоду избалованному Каллисту. Всякий раз, когда требовалось выманить у девицы дю Геник связку ключей, чтобы добыть еды в неуточный час, приходилось вступать с суровой домоправительницей в долгие объяснения, но можно было без труда добиться успеха, сославшись на желание Каллиста. Около часа дня барон, его супруга и девица дю Геник собрались в зале, где они всегда проводили время до обеда, который подавали ровно в три. Баронесса снова взялась за «Котидьен» и начала читать вслух, так как перед обедом старик чувствовал себя несколько бодрее. Когда Фанни уже заканчивала чтение, наверху послышались шаги, она выронила газету и произнесла:

– Каллист, очевидно, сегодня опять обедает у де Туш. Слышите, он одевается!

– Ну и пусть идет, молодому человеку надо развлекаться, – возразила Зефирина и, нащупав свой серебряный свисток, свистнула один раз.

Появилась Мариотта и стала в дверях, ведущих в залу и задрапированных такой же шелковой тканью, как и окна.

– Звали меня, барышня? – спросила она.

– Кавалер не обедает сегодня дома, рыбы не готовить.

– Ведь мы этого наверное еще не знаем, – ответила прекрасная ирландка.
– Вы, кажется, сердитесь, сестрица? Я слышу это по вашему голосу, – сказала слепая.
– Господин Гримон сообщил мне вчера очень серьезные вещи насчет мадемуазель де Туш, да мы и сами видим, что она за год совершенно изменила нашего Каллиста.
– А в чем именно? – осведомился барон.
– Да он теперь читает разные книги.
– Ах, так! Вот почему он забросил охоту и лошадей.
– Она предосудительного поведения и, кроме того, носит мужское имя.
– Это просто кличка, – пояснил старик. – Я тоже во время войны назывался «Отвечик», графа де Фонтэна звали у нас «Большим Жаком», а маркиза де Монторана – «Молодцом». У меня был друг «Фердинанд», тоже не подчинявшийся новой власти. Право, славное было времечко! Мы воевали, а в свободное время развлекались, как могли.

Видя, что старик, увлеченный воспоминаниями о былых своих подвигах, позабыл родительскую тревогу, Фанни огорчилась. Внушение священника, сдержанность и скрытность сына лишили ее сна.

– Ну и что тут такого, что кавалер влюбится в мадемуазель де Туш? Беда невелика, – вмешалась Мариотта. – У нее, у негодяйки, тридцать тысяч экю годового дохода, да и собой она еще красивая.

– Что ты говоришь, Мариотта? – воскликнул старик. – Чтобы дю Геник женился на какой-то де Туш! Ведь де Туши не были даже нашими оруженосцами в те времена, когда сами дю Геклены считали за великую честь породниться с нами.

– К тому же эта девушка носит мужское имя, она зовется Камиллом Мопеном, – добавила баронесса.

– Что ж, Мопены старинного рода, – заявил старик. – Они из Нормандии, герб у них пурпурный, трехчастный... (Он помолчал.) Но ведь не может же она быть в одно и то же время и де Туш и Мопен.

– Ее в театре называют Мопен.

– Никогда де Туш не станет комедианткой, – продолжал старик. – Если б я не знал вас, Фанни, я решил бы, что вы, чего доброго, не в себе.

– Ну, она пишет пьесы, книги, – пояснила баронесса.

– Как так «пишет»? – переспросил старик, глядя на жену с таким удивлением, будто она сообщила ему невесть какое чудо. – Я, правда, слышал, что мадемуазель Скюдери¹⁸ и мадам де Севинье¹⁹ что-то писали, и, говорят, это лучшее, что они сделали в своей жизни. Да мало ли какие несуразности творились при дворе Людовика Четырнадцатого!

– Вы нынче в Туше обедаете, сударь? – спросила служанка Каллиста, который в эту минуту показался в дверях.

– Возможно, – коротко ответил тот.

Мариотта не отличалась любопытством, и, кроме того, она была членом семьи; поэтому она вышла из комнаты, не интересуясь продолжением разговора, и не слышала вопроса, с которым г-жа дю Геник обратилась к Каллисту:

– Значит, ты опять обедаешь в Туше, мой сын? – Баронесса сделала многозначительное ударение на слове «мой». – Но ведь этот дом – непотребное, нехорошее место. Его хозяйка ведет беспутную жизнь, она испортит нам нашего Каллиста. Камилл Мопен дает тебе всякие книги, у нее в жизни было бог весть сколько приключений. И ты все это отлично знаешь сам, скверный мальчик, но ни словом не обмолвился своим старым родителям.

¹⁸ *Мадемуазель Скюдери* – Мадлена де Скюдери (1607–1701), французская писательница, автор галантно-героических романов написанных выспренним «прециозным» стилем.

¹⁹ *Мадам де Севинье* – Мари де Рабюнтель-Шанталь (1626–1696). На протяжении многих лет писала письма к своей дочери о светской и литературной жизни Парижа и Версаля.

– Каллист молчалив, как и подобает рыцарю, – сказал отец. – Он верен старым правилам.

– Уж слишком верен, – ревниво воскликнула ирландка, видя, что белоснежное чело ее любимого сына вдруг зарделось.

– Маменька, дорогая моя маменька, – промолвил Каллист, опускаясь на колени перед баронессой, – к чему разглашать свои неудачи? Мадемуазель де Туш, или, если вам угодно, Камилл Мопен, отвергла мою любовь еще полтора года назад, во время своего последнего пребывания в наших краях. Она даже подтрунивала тогда надо мной: «Я вам в матери гожусь», – говорила она. Сорокалетняя женщина, влюбившись в юнца, совершает, по ее словам, просто преступление, и она на это не способна. Она осыпала меня шутками, язвительными шутками, ибо она умна, как ангел. Когда же она заметила на моих глазах слезы, она стала утешать меня; у нее благороднейшее сердце, и она предложила мне свою дружбу. Она так же великодушна, как и талантлива; она такая же добрая, как и вы, маменька. Она относится ко мне, как к ребенку. Теперь, когда она снова приехала в Туш, я узнал, что она любит другого, и я смирился. Молю вас, не повторяйте той клеветы, которая распространяется здесь, в Геранде, на ее счет: Камилл Мопен – художник, она – талант, и она живет особой жизнью, о ней нельзя судить, как о всех смертных.

– Дитя мое, – возразила благочестивая Фанни, – ничто на свете не может освободить женщину от тех обязанностей, которые налагает на нее святая церковь. Она пренебрегает своим долгом перед богом, перед людьми, ибо отрекается от тех смиренных обязанностей, которые положены ее полу. Женщина, посещающая театр, уже совершает грех. Но писать безбожные вещи, которые повторяют со сцены актеры, разъезжать по всему свету то с заклятым врагом папы, то с каким-то музыкантом, – нет, Каллист, ты не убедишь меня, что эти поступки есть деяния веры, надежды или милосердия. Ее состояние дано ей, чтобы делать добро, а скажи, какое употребление находит она своим деньгам?

Каллист вдруг поднялся с колен, взглянул на мать и произнес:

– Маменька, Камилл Мопен – мой друг; я не могу слышать подобных вещей. Я готов отдать за нее жизнь!

– Отдать жизнь? – повторила баронесса, испуганно глядя на сына. – Но ведь твоя жизнь – это наша жизнь.

– Мой прекрасный племянник наговорил здесь столько, что мне и не понять, – тихо произнесла слепая Зефирина, поворачиваясь к Каллисту.

– А где он научился всему этому? – сказала баронесса. – У мадемуазель де Туш!

– Но, милая маменька, она находит, что я невежествен, как дикарь.

– Ты знаешь достаточно, раз ты усвоил обязанности, которые предписывает нам религия, – ответила баронесса. – Ах, эта женщина разрушит твои благородные и светлые верования!

Старая девица вдруг поднялась с места и торжественно протянула руку к брату, который в продолжение всего разговора мирно дремал в креслах.

– Каллист, – произнесла она голосом, идущим из глубины сердца, – твой отец никогда не открыл ни одной книжки, он говорит по-бретонски, но он рисковал жизнью, сражаясь за короля и бога. А образованные люди совершали дурные поступки, и ученые дворяне покинули свою родину. Вот она, наука!

И, усевшись на место, старуха снова взялась за вязанье; спицы быстро-быстро заходили в морщинистых руках, выдавая ее волнение. Каллист был потрясен словами этой пифии²⁰.

²⁰ Пифия – в Древней Греции жрица-прорицательница в храме Аполлона.

– Словом, мой ангел, я предчувствую, что тебя в том доме ждет беда, – сказала мать. Голос ее дрожал, по щекам катились крупные слезы.

– Отчего плачет моя Фанни? – воскликнул барон, которого разбудил голос жены.

И он обвел взглядом плачущую жену, сестру и сына.

– Что случилось?

– Ничего, друг мой, – ответила баронесса.

– Маменька, – тихо прошептал Каллист на ухо матери, – сейчас я не могу объяснить вам всего, но нынче вечером мы поговорим. Когда вы узнаете всю правду, вы первая будете благословлять мадемуазель де Туш.

– Нет такой матери, которая прокляла бы женщину, любящую ее сына, – ответила баронесса. – Как могу я проклясть ту, что любит моего Каллиста?

Юноша попрощался с отцом и вышел из комнаты. Барон и его супруга поднялись с места, подошли к окну и проводили взглядом сына, который пересек двор, открыл калитку и исчез из виду. Баронесса не возобновила чтения, она была слишком взволнована. В их мирной, безмятежной жизни даже такой короткий спор был равносителен настоящей семейной ссоре. И хотя слова Каллиста несколько успокоили баронессу, тревога ее не совсем улеглась. «Куда заведет сына эта дружба, не потребует ли она в самом деле его жизни, не погубит ли его? Почему и за что я должна благословлять мадемуазель де Туш?» Эти вопросы для неискушенной души баронессы дю Геник были столь же сложны, как для дипломата угроза самой грозной революции. Камилл Мопен внесла революцию в их тихий и мирный дом.

– Боюсь, как бы эта женщина не испортила нам нашего Каллиста, – произнесла баронесса, берясь за газету.

– Дорогая моя Фанни, – игриво ответил барон, – вы – ангел и посему не можете разбираться в подобных вопросах. Если верить слухам, мадемуазель де Туш черна, как галка, здорова, как турок, ей сорок лет, вот наш Каллист и адресовался к ней. Что ж тут худого, если наш Каллист и прибегнет к невинной лжи, желая скрыть свое счастье? Оставьте его в покое, пусть тешится своими первыми мужскими хитростями.

– Хоть бы это была какая-нибудь другая женщина...

– Но, дорогая моя Фанни, если бы эта женщина была святой, она не стала бы принимать нашего сына.

Баронесса развернула газету и приготовилась читать.

– Я сам поеду к ней, – заявил старик, – и дам вам полный отчет об этой особе и о ее поведении.

Чтобы понять всю прелесть этого замечания, вспомните, кем был барон и кем была Камилл Мопен, и представьте себе схватку престарелого барона с этой прославленной женщиной.

В течение двух месяцев вся Геранда, видя, как ее гордость, ее цвет – Каллист дю Геник то вечером, то утром, а чаще всего и утром и вечером шагает по направлению к Тушу, не сомневалась, что мадемуазель Фелисите де Туш безумно влюблена в этого красавца и что на нем она испытывает свои чары. Не одна юная девица, не одна молодая дама безуспешно старалась понять, каким же волшебством старая женщина могла покорить своей власти их ангела. Итак, когда Каллист шел по Главной улице, направляясь к Круазикским воротам, немало женских глаз украдкой следило за ним.

Здесь мы должны разъяснить ходившие по городу слухи относительно той особы, к которой направлялся сейчас Каллист. Эти слухи, удештеренные бретонскими сплетниками, раздутые невежеством герандцев, дошли до священника. Сборщик налогов, мировой судья, директор сен-назерской таможни и прочие просвещенные особы Геранды и ее окрестностей лишь усилили тревогу аббата Гримона, рассказав ему о странной жизни женщины-писателя, укравшейся под мужским именем – Камилл Мопен. Правда, она, благода-

рение богу, не пожирала маленьких детей; не убивала рабов на манер Клеопатры; по ее повелению мужчин не сбрасывали с утеса в реку, в чем совершенно несправедливо упрекали героиню «Нельской башни»²¹, – но в глазах аббата Гримона это ужасное создание, слывшее сиреной и безбожницей, являло страшное и безнравственное сочетание женщины и философа и разрушало все социальные законы, изобретенные для того, чтобы держать в повиновении представительниц прекрасного пола или обращать на пользу их слабости и несовершенства.

Подобно тому как женское имя Клара Гасуль²² было псевдонимом мужчины великого ума, а мужское имя Жорж Санд – псевдоним женщины великого таланта, под именем Камилла Мопена долгое время скрывалась очаровательная девушка хорошего рода, бретонка по происхождению, звавшаяся Фелисите де Туш, женщина, которая причинила столько страданий баронессе дю Геник и беспокойства доброму герандскому священнику. Семейство де Туш не имело ничего общего с де Тушами из Турени, от которых происходил посланник Регента, прославившийся более своим литературным именем, нежели дипломатическими талантами. Камилл Мопен – псевдоним одной из наиболее знаменитых женщин XIX века – долгое время считался реально существующим автором, столь мужественны были по духу первые его произведения. Ныне все знают два сборника пьес, не рассчитанных на сценическое воплощение, хоть и написанных в манере Шекспира или Лопе де Вега; они вышли в свет в 1822 году и произвели своего рода революцию в литературе, ибо как раз в тот момент все газеты, все литературные кружки и даже сама Академия страстно обсуждали великую проблему романтизма и классицизма. С тех пор Камилл Мопен написала еще несколько пьес и опубликовала роман, которые поддержали славу ее первых произведений, ныне не совсем заслуженно забытых. Благодаря стечению каких обстоятельств произошло перевоплощение юной девушки, каким образом Фелисите де Туш стала мужчиной и писателем, почему, более счастливо, чем г-жа де Сталь²³, она сохранила свою свободу (а это заставляло снисходительней отнестись к ее славе), – объяснить все это нужно хотя бы для того, чтобы удовлетворить законное любопытство толпы в отношении к целой плеяде прославленных женщин, которые выделяются как некое исключительное, почти противоестественное и вместе с тем величественное явление в истории человечества, ибо в течение двадцати веков вы не насчитаете и двадцати великих женщин. И хотя мадемуазель де Туш является второстепенным действующим лицом в этой повести, ее огромное влияние на Каллиста и та роль, которую она играет в истории литературы нашего времени, позволяет нам остановиться на этой особе несколько дольше, чем того требуют законы современной поэтики.

Мадемуазель Фелисите де Туш осталась сиротой в 1793 году. Таким образом, ее владения избежали конфискации, что непременно произошло бы, останься в живых ее отец и брат. Но отец Фелисите погиб десятого августа²⁴, – он был убит у входа во дворец вместе с другими защитниками короля, при котором состоял в чине начальника дворцовой охраны. Ее юный брат, служивший в лейб-гвардии, был убит в Кармелитском монастыре. Фелисите де Туш исполнилось два года, когда ее мать, не выдержав второго удара – смерти сына, угасла в несколько дней. Умирая, г-жа де Туш поручила дочку своей сестре, монахине Шель-

²¹ «Нельская башня» – историческая драма Александра Дюма-отца и Фредерика Гайарде (1832). Легенда о Нельской башне связана с именем жены французского короля Людовика X Маргариты Бургундской, обвиненной королем в измене и по его приказанию задушенной.

²² Клара Гасуль – псевдоним, под которым французский писатель Проспер Мериме (1803–1870) издал свою первую книгу «Театр Клары Гасуль» – сборник небольших пьес, проникнутых антифеодалной и антиклерикальной тенденцией (1825).

²³ Г-жа де Сталь. – Французская писательница, принадлежавшая к романтическому направлению, Жермена де Сталь (1766–1817), дочь министра Людовика XVI Неккера.

²⁴ Десятое августа. – 10 августа 1792 г. в Париже восставший народ овладел королевской резиденцией, дворцом Тюильри. Король Людовик XVI был низложен.

ского монастыря. Монахиня, г-жа де Фокомб, из осторожности перевезла малютку в Фокомб, большое поместье, расположенное неподалеку от Нанта и принадлежавшее покойной г-же де Туш. Здесь тетка поселилась с малюткой-племянницей и тремя монахинями своего монастыря. В последние дни террора замок был разрушен, а монахинь заключили в тюрьму по навету людей, утверждавших, что они принимали у себя эмиссаров Питта и Кобурга²⁵; вместе с ними была взята и мадемуазель де Туш. После девятого термидора²⁶ их выпустили. Тетка Фелисите умерла от испуга, две монахини покинули пределы Франции, за ними последовала и третья, поручив девочку попечению самого близкого теперь ее родственника, двоюродного деда с материнской стороны, г-на де Фокомба из Нанта. Г-н де Фокомб, в ту пору шестидесятилетний старик, женился на молодой женщине и передал ей бразды правления. Сам он занимался только археологией, которая стала его страстью или, вернее, манией, – такие мании поддерживают в стариках иллюзию жизни. Воспитание малютки было предоставлено случаю. Молодая жена старика Фокомба, следуя нравам Империи, занята была только развлечениями. Девочка росла, как мальчик, без присмотра; она целые дни проводила вместе с дедом в его библиотеке и читала все, что попадалось под руку. Таким образом, она познала жизнь в теории, но, утратив невинность мысли, оставалась чистой. Ее ум погрузился в запретные для девушки сферы науки, а сердце оставалось нетронутым. Знания Фелисите были поразительно обширны, ею двигала страсть к чтению, а прекрасная память помогала усваивать прочитанное. В восемнадцать лет она обладала такими познаниями, которые не мешало бы приобрести нашим теперешним молодым писателям, прежде чем братья за перо. Невероятная начитанность Фелисите гораздо надежнее сдерживала ее страсти, чем жизнь в монастыре, разжигающая воображение девушек. Ее мозг, начиненный знаниями, которых он не мог ни переварить, ни систематизировать, господствовал над ее полудетским сердцем. Этот любопытный случай умственной порчи, которая не коснулась целомудрия, удивил бы философа или опытного наблюдателя, если бы только во всем Нанте нашелся хоть один человек, способный оценить достоинства мадемуазель де Туш. Но результат был самый неожиданный: Фелисите не имела ни малейшей склонности ко злу, все постигала умом и воздерживалась от дурных поступков; она очаровала старика деда и помогала ему в его научных изысканиях; она написала три работы за этого благодушного дворянина, который охотно счел их своими собственными, ибо авторское тщеславие так же слепо, как и любовь. Усиленные занятия, мешавшие развитию юного организма, оказали свое действие: Фелисите слегла в постель. Ее кровь воспалилась, опасались грудной болезни. Врачи прописали больной ездить верхом и вести более рассеянный образ жизни. Мадемуазель де Туш стала превосходной наездницей и через два-три месяца была совершенно здорова. В восемнадцать лет тетка вывезла ее впервые в свет, и Фелисите имела такой головокружительный успех, что в Нанте ее не называли иначе, как прекрасной барышней де Туш; но восхищение мужчин оставляло ее холодной. Причина ее увлечения светскою жизнью крылась в тщеславии, от которого не свободны даже самые незаурядные женщины. Задетая насмешками тетки и двоюродных сестер, трунивших над ее ученостью и намекавших на то, что она сторонится поклонников просто потому, что не умеет нравиться мужчинам, Фелисите решила быть кокетливой и легкомысленной, словом, стать настоящей женщиной. Она рассчитывала встретить людей, с которыми возможен обмен мыслей и чувств, надеялась даже, что соблазны будут хотя бы достойны ее высоких умственных качеств, ее обширных знаний; а ей приходилось с отвращением выслушивать общие места и пош-

²⁵ *Питт, Кобург* – вдохновители и организаторы контрреволюционной борьбы против республиканской Франции. Питт Вильям Младший (1759–1806) – английский политический деятель, премьер-министр. Герцог Кобургский – австрийский фельдмаршал; командовал войсками коалиции.

²⁶ *Девятое термидора* (27 июля 1794 г.) – день контрреволюционного переворота, когда революционная диктатура якобинцев была низвергнута и к власти пришла реакционная буржуазия.

лые комплименты; особенно же ее коробило самодовольство и высокомерие военных, которые в ту пору были властителями дум и сердец. Естественно, что в детстве она пренебрегла изучением салонных искусств и теперь живо почувствовала пробелы своего воспитания, видя, как великосветские куклы бойко бренчат на фортепьяно и мило распевают романсы. Она тоже решила стать музыкантшей, снова удалилась от света и начала упорно заниматься музыкой у лучшего в Нанте учителя. Фелисите была богата и, к великому удивлению своих сограждан, выписала самого Стейбельта. До сих пор в Нанте говорят об этой «безумной прихоти». Пребывание прославленного немецкого маэстро в Нанте и его уроки обошлись мадемуазель де Туш в двенадцать тысяч франков. Зато она стала прекрасной музыкантшей. Позже в Париже она изучала гармонию, контрапункт и написала две оперы, которые имели шумный успех, хотя публика так и не узнала имени автора. Считалось, что эти оперы создал Конти, один из выдающихся композиторов нашего времени; но это обстоятельство относится уже к области сердечных дел Фелисите и будет разъяснено в свое время и на своем месте. Посредственность провинциального общества до того опостылела ей, в ее воображении теснились такие грандиозные идеи и замыслы, что она бежала из нантских салонов, промелькнув в них как метеор, затмив всех женщин блеском своей красоты, а всех салонных музыкантш прелестью своей игры и очаровав всех умных людей. Но, доказав силу своих женских чар двум кузинам и разбив сердца двум воздыхателям, Фелисите вновь взялась за книги, за Бетховена, за археологические изыскания вместе со стариком Фокомбом. В 1812 году, когда ей минул двадцать один год, старый археолог сложил с себя опекунские обязанности и дал полный отчет по опеке; с этого времени она стала самостоятельно распоряжаться своими капиталами, состоявшими из пятнадцати тысяч ливров годового дохода от отцовского имения Туш, из двенадцати тысяч франков, которые приносили земли де Фокомбов (доход с этих земель возрос на одну треть при возобновлении аренды) и из трехсот тысяч франков, нажитых для нее опекуном. Провинциальная жизнь научила Фелисите только одному, а именно: ценить богатство и вести дела, что восполняет состоятельным провинциалам утечку их капиталов в столицу. Она вынула триста тысяч франков из банка, куда поместил их старый археолог, и вложила в государственную ренту как раз во время разгрома Наполеона и его отступления из Москвы. Таким образом, годового дохода у нее стало на тридцать тысяч ливров больше. За вычетом всех расходов у Фелисите оставалось пятьдесят тысяч свободных денег, которые можно было пустить в оборот. Девушка двадцати одного года, обладающая такой силой воли, стоит любого тридцатилетнего мужчины. Ее ум развился до чрезвычайности, а ее критическое чувство помогало ей здраво судить о людях, об искусстве, делах и политике. Она решила было покинуть Нант, но тут старика Фокомба сразил смертельный недуг. Фелисите стала для деда как бы преданной супругой, она ухаживала за ним в течение полутора лет, как самая заботливая сиделка, и закрыла ему глаза в тот момент, когда Наполеон воевал со всей Европой на трупе Франции. Она отложила свой приезд в Париж до окончания войны. Будучи роялисткой, она торопилась попасть в столицу, чтобы присутствовать при возвращении Бурбонов. В Париже она поселилась у Гранлье, с которыми состояла в отдаленном родстве, но разыгрались события двадцатого марта²⁷, и снова почва ушла у нее из-под ног. Фелисите стала свидетельницей последней драмы Империи и восхищалась войсками, когда они, проходя по Марсову полю, как римские гладиаторы по арене цирка, приветствовали цезаря, перед тем как сложить головы под Ватерлоо. Это зрелище поразило благородную душу Фелисите. Политические бури, – вернее, та феерия, которая вошла в историю под именем «Ста дней», – захватили ее и уберегли от всех страстей, когда эти потрясения обрушились на роялистскую среду,

²⁷ ...события двадцатого марта... – 20 марта 1815 г. Наполеон, бежавший с острова Эльбы, вступил в Париж. Начался период так называемых «Ста дней». 22 июня 1815 г., после поражения при Ватерлоо, Наполеон вновь отрекся от престола.

где Фелисите начала свою парижскую жизнь. Семейство Гранлье последовало за Бурбонами в Гент и предоставило свой особняк в распоряжение мадемуазель де Туш. Однако Фелисите, не желая жить на положении провинциальной кузины у знатных родственников, купила за сто тридцать тысяч франков великолепный особняк на улице Монблан. Один его сад оценивается нынче в два миллиона. Здесь она и жила в 1815 году, когда Бурбоны возвратились во Францию. Привыкнув с детства к полной свободе и самостоятельности, Фелисите прекрасно справлялась со всеми делами, которые издавна почитаются мужскими. В 1816 году ей исполнилось двадцать пять лет. Она не могла представить себе супружеской жизни и лишь в мыслях допускала возможность вступить в брак; раздумывая о браке, она видела только побуждающие причины, а не следствия, и подчеркивала его темные стороны. Ее исключительный ум не мог примириться с тем, что женщина, выходя замуж, вынуждена отказаться от всех своих прав; она слишком живо чувствовала цену независимости, а материнские заботы казались ей скучными. Мы говорим обо всех этих вещах, чтобы объяснить непонятные черты характера Камилла Мопена. Фелисите не помнила ни отца, ни матери. Она сама с детских лет была полной хозяйкой своей судьбы, опекуном ее оказался старый археолог, случай бросил ее в царство науки и воображения, в литературный мир, вместо того чтобы ограничить ее обычным кругом поверхностного воспитания, которое у нас дается девушкам, – то есть материнскими наставлениями касательно туалетов, лицемерных приличий и великого искусства охотиться за женихами. Еще задолго до того, как мадемуазель де Туш стала знаменитостью, можно было угадать, что она никогда в жизни не играла в куклы. К концу 1817 года Фелисите вдруг заметила, что она не то что поблекла, но что в ее лице проглядывает усталость. Она поняла, что, упорно отказываясь от брака, рискует потерять красоту, а она хотела быть прекрасной, ибо в те годы дорожила своей внешностью. Изучение наук открыло ей, что природа равно мстит как тем своим чадам, которые пренебрегают ее законами, так и тем, которые, следуя им, нарушают меру. Вспоминая иссохшее лицо своей тетки-монахини, она вздрагивала от ужаса. «Если уж выбирать между браком и свободной страстью, лучше сохранить свободу», – думала Фелисите и, во всяком случае, перестала пренебрегать окружающим ее поклонением. К тому моменту, с которого начинается наш рассказ, Фелисите почти не изменилась, хотя с 1817 года прошло восемнадцать лет. В сорок лет она казалась двадцатипятилетней. Поэтому ее портреты 1836 и 1817 годов неизбежно походят друг на друга. Представительницы прекрасного пола, знающие, сколь трудно защитить женщине свои чувства и красоту от руки времени, поймут, как достигла этого Фелисите де Туш, когда взглянут в ее портрет, для которого мы не пожалели ни самой богатой рамы, ни самых ярких красок.

Странно, но в Бретани, находящейся в столь близком соседстве с Англией и столь сходной с ней климатическими условиями, преобладают темные волосы, темные глаза и смуглый цвет лица. Отчего это зависит? От такого важного фактора, как национальность, или тут играет роль какое-либо природное, еще не изученное воздействие? Быть может, когда-нибудь позже ученые дознаются о причинах этого неразгаданного явления, которое не распространяется уже на соседнюю с Бретанью провинцию, а именно на Нормандию. Но так или иначе, мы являемся свидетелями причудливой игры природы: белокурые женщины величайшая редкость среди бретонков; у всех уроженков Бретани живой, как у южанок, взгляд, но они не обладают змеиной гибкостью итальянок или испанок; бретонки по большей части невысоки, плотно сбиты, но ладно скроены, – исключение составляют представительницы высших классов, где скрещиваются несколько аристократических линий. Как истая дочь Бретани, мадемуазель де Туш была среднего роста – футов около пяти, но производила впечатление высокой, что объяснялось осанкой Фелисите, придававшей ей роста. При дневном свете лицо ее имело смугло-оливковый оттенок, а при свечах казалось бледным, – отличительная черта итальянской красоты; вы сравнили бы цвет ее кожи

со слоновой костью, в которую вдохнули жизнь; солнечный луч скользил по коже Фелисите, как по гладкой поверхности зеркала, и зажигал ее своим блеском; только глубокое волнение вызывало на щеках два слабых розовых пятна, которые тут же исчезали. Эта особенность придавала ее чертам какую-то дикарскую невозмутимость. Лицо у нее было слегка удлиненное, не овальное и напоминало изображение прекрасной Изиды на египетских барельефах. Вам невольно вспомнилась бы также голова сфинкса, отполированная огненным дыханием пустыни, обласканная жгучим полуденным солнцем. Итак, цвет лица был в полной гармонии с правильностью черт. Черные и густые волосы косами спускались на шею, как двойная повязка, украшающая мемфисские статуи, и превосходно оттеняли ее строгие линии. Лоб был открытый, широкий, выпуклый у висков, той же формы, что у Дианы-охотницы, мощный и волевой лоб, спокойное и невозмутимое чело, на блестящей глади которого играл дневной свет. Резко очерченные брови крутыми дугами лежали над черными глазами, которые порою мерцали, как звезды. Глазной белок не отливал голубизной, не поражал ослепительной белизной, его не прорезала сетка красных прожилок, – он был плотен, как рог, и светился теплым блеском. Зрачок был обведен золотистой каймой; он напоминал бронзу, оправленную в золото, но золото было живое, а бронза – дышала. В этих глубоких глазах не было того холодного, зеркального отражения света, которое придает глазам человека кошачье или тигриное выражение; они не отпугивали людей впечатлительных странной неподвижностью, но в них таилась бесконечность более притягательная, чем властность хищного взора. Взгляд человека наблюдательного мог потонуть в этой душе, которая проливалась из бархатных глаз, то застывая в их взгляде, то вдруг покидая его. В минуты страстного волнения взгляд Камилла Мопена становился небесным: золото зажигало легкую желтизну белка, и взгляд пылал, как факел; но в спокойные минуты он тускнел, в часы глубокого раздумья мог показаться даже глуповатым; когда потухала душа, лицо становилось печальным. Ресницы у Фелисите были короткие, но густые и черные, как хвост горностая. Темные веки с тончайшими красными прожилками придавали ее лицу и грацию и силу – два качества, столь редко сочетающиеся в женщине. Кожа вокруг глаз была гладкой, без единой морщинки. И здесь тоже вы сравнили бы ее с гранитом древних египетских статуй. Однако скулы, хотя и нежных очертаний, выступали сильнее, чем обычно выступают они у женщин, и довершали впечатление силы, которую выражало лицо Фелисите. Резко очерченные, страстно раздувавшиеся ноздри позволяли видеть их нежную, розовую, как раковина, глубину. Лоб изящно переходил в линию прямого носа тонкой лепки и ослепительно белого от переносицы до самого кончика, – этот милый кончик забавно шевелился, когда Фелисите негодовала, гневалась или возмущалась. Именно к кончику носа советовал присматриваться Тальма тем, кто наблюдает, как зарождается на лице гения гнев или насмешка. Неподвижные ноздри отличают черствую натуру. Ноздри скупца сводит та же судорога, которой сжаты его губы, так что все лицо его кажется наглухо замкнутым. Изогнутые, как контуры лука, яркие губы Фелисите, к которым живым пурпуром приливалась кровь, складывались в прелестную, задумчивую улыбку, и самый робкий поклонник, отпугнутый величественной важностью лица, не мог отвести глаз от этого рта. Верхняя губа была тонкая, бороздка, идущая от носа, глубоко врезалась в нее, что придавало лицу какое-то высокомерное выражение. Фелисите не требовалось хмурить бровей, чтобы выразить свой гнев. Красивая верхняя губка едва касалась припухлой нижней губы, которая говорила о доброте и любви; казалось, из-под резца самого Фидия вышел этот ярко-красный, как половинка сочного граната, рот. Подбородок сильно выдавался; пожалуй, он был несколько тяжел, но выражал решимость и прекрасно довершал этот профиль богини. Заметим, что верхняя губа была покрыта легким прелестным пушком. Природа совершила бы непростительный промах, забудь она затенить губу этой сладостной дымкой. Извилины ушных раковин были мягких очертаний, что указывало на скрытую нежность характера. Торс у Фелисите был широкий, грудь невысокая,

но пышная, бедра узкие и изящные. Великолепный изгиб спины и талии скорее напоминал Бахуса, чем Венеру Каллинигийскую. Именно это отличает знаменитых женщин от прочих представительниц их пола, и именно этим они несколько схожи с мужчинами: нет у них тех широких могучих бедер, какими природа одаряет женщину-мать; их походка не напоминает плавную дамскую поступь. Впрочем, наблюдение это, так сказать, обоюдоострое, ибо мужчины хитрые, коварные, фальшивые и трусы как раз напоминают линией бедер женщин. Шея Фелисите переходила в плечи ровно, как колонна, даже без ямки у затылка, – явственный признак силы. Иногда на этой шее проступали мышцы, великолепные, как у атлета. Разворот плечей и предплечье были бы под стать великанше. И так же мощно вылепленные руки оканчивались прелестной чисто английской кистью, пухлой, маленькой, в ямочках, а красивые выпуклые миндалевидные ногти с ярко-белыми лунками свидетельствовали, что это округлое, упругое, складное тело окрашено совсем иначе, чем лицо. Холодное и замкнутое выражение лица смягчал подвижной рот, то и дело менявший выражение, а ноздри трепетали, выдавая художественную натуру. Но вопреки этим волнующим и сулящим блаженство приметам, впрочем, понятным только посвященному, на лице лежала печать какого-то вызывающего спокойствия. Грусть, рожденная постоянными размышлениями, доброта, а еще более меланхолия и серьезность – вот что читалось на этом лице. Мадемуазель де Туш чаще слушала, чем говорила. Это молчание смущало, особенно когда она вперяла в собеседника остановившийся глубокий взгляд. При виде Фелисите любой образованный человек сравнил бы ее с Клеопатрой, с этой черноволосой маленькой женщиной, чуть было не изменившей лицо мира: но в Камилле плотское начало было столь властно выражено, столь совершенно, исполнено такого львиного благородства, что мужчина несколько турецкого склада характера, желая видеть в ней женщину, и только женщину, пожалел бы, что в этом роскошном теле живет высокий ум. Каждый содрогается, когда ему приходится повстречаться с дьявольски причудливой человеческой душой. Быть может, страсти Фелисите были разъяты холодным анализом и ясностью мысли? Быть может, она рассуждала, вместо того чтобы чувствовать? Или, что еще страшнее, уж не чувствовала ли она и рассуждала одновременно? Постигая все умом, не переходит ли она той грани, перед которой останавливаются другие женщины? Сохранилось ли в ней при этой силе интеллекта слабое женское сердце? Да и была ли в ней женственность? Снисходила ли она до тех трогательных пустячков, которыми женщина развлекает, занимает, очаровывает любимого человека? Не разрушала ли она своей рукою чувство, требуя, чтобы оно вмещало в себя ту бездну, которую она умела охватить внутренним оком? Что могло бы заполнить бездну ее собственного взора? В ней чувствовалось что-то девственное, непокорное. Пусть сильная женщина останется для нас только символом, как реальное существо она отпугивает! Камилл Мопен была отчасти живым воплощением шиллеровской Изиды: скрытая от нечестивых глаз, высится она в глубине храма; у ног богини жрецы находят на заре трупы смельчаков, посмевавших вопрошать о своей судьбе. Некоторую загадочность облика Камилла Мопена поддерживала молва, приписывавшая ей множество любовных похождений. Фелисите не опровергала рассказней. Кто знает, может быть, эта клевета была ей по душе? Даже самый характер ее красоты способствовал такой репутации, так же как ее состояние и положение выдвинули ее в обществе. Если бы скульптор решил изваять статую Бретани, он не нашел бы лучшей модели, чем мадемуазель де Туш. Этот сангвинический, желчный темперамент как нельзя надежнее противостоял действию времени. Природа дала женщинам только одно-единственное оружие, которое защищает их от морщин, – а именно как бы покрытую глазурью кожу, непрерывно питаемую внутренними соками. Впрочем, хозяйку Туша уберегла от преждевременных примет старости неподвижность ее лица.

В 1817 году эта очаровательная девушка открыла двери своего дома артистам, знаменитым писателям, ученым, известным журналистам, – ее тянуло к этой среде. В ее салоне,

как и у барона Жерара, бывали аристократы, знаменитости, прославленные парижские красавицы. Создать в Париже свой собственный круг – дело нелегкое, и если Фелисите удалось добиться успеха, то в этом ей помогли ее родня и богатство, которое еще возросло после смерти тетки-монахини, отказавшей племяннице все свое состояние. Независимость мадемуазель де Туш была не последней причиной ее успеха. Не одна маменька питала в глубине сердца честолюбивый замысел соединить Фелисите узами брака со своим детищем, счастливым обладателем пышного герба и куда менее завидного состояния. Не один пэр Франции, прельщенный годовым доходом в восемьдесят тысяч ливров, приводил в салон мадемуазель де Туш своих несговорчивых и чванливых тетушек. Дипломаты, которые всегда и везде ищут развлечений, охотно посещали дом Фелисите. Перед мадемуазель де Туш, ставшей центром стольких чайний и вожделений, разыгрывались многообразные комедии, где заглавные роли выполняли баловни нашего общества, вдохновленные страстью, алчностью или честолюбием. Фелисите увидела вскоре свет таким, каков он есть, и радовалась, что ее не захватила слишком рано та всепоглощающая любовь, которая оттесняет на задний план ум, способности и мешает здравым суждениям. Обычно женщина сначала живет чувством, затем наслаждениями и, наконец, рассудком: таким образом, в жизни женщины существуют как бы три различные эпохи, последняя из которых обычно совпадает с печальной порой увядания. Но мадемуазель де Туш нарушила этот незыблемый порядок. Ее юность была укрыта снегом науки и одета льдом размышлений. Этот обратный ход и объясняет некоторые странности ее поведения и характер ее таланта. Она наблюдала многих мужчин, будучи в том нежном возрасте, когда юная дева видит перед собой только одного – своего избранника. Она презирала то, что восхищало других; под льстивыми словами, которым верили ее подруги, она чуяла ложь, она смеялась над тем, к чему они прислушивались с серьезным видом. Это отклонение длилось долгое время, и закончилось оно трагически: ей довелось испытать чувство первой любви во всей его свежести тогда, когда сама природа вынуждает женщину смирять свое сердце. Первая ее связь сохранялась в такой тайне, что никто о ней ничего не знал. Фелисите, как и все женщины, доверилась голосу сердца, по телесной красоте судила о красоте души и влюбилась в прекрасную внешность, но вскоре познала она всю глупость обольстителя, который видел в ней только женщину. Ей потребовалось немало времени, чтобы оправиться от горечи отвращения, которую оставила в ней эта безрассудная связь. Ее печаль разгадал один человек и стал утешать ее без всякой задней мысли, или, во всяком случае, умело скрывая свои замыслы. Фелисите решила, что здесь она наконец нашла благородное сердце и ум, которых так недоставало ее красавцу. Человек, о котором идет здесь речь, был одним из самых своеобразных умов того времени. Он тоже писал под псевдонимом и в первых же своих произведениях показал себя страстным поклонником Италии. Фелисите решила путешествовать, чтобы пополнить единственный пробел в своем образовании. Новый друг Фелисите, скептик и насмешник, повез ее в классическую страну искусства. В сущности, этот знаменитый незнакомец был учителем и создателем Камилла Мопена. Он помог ей привести в порядок ее огромные знания, развил их изучением шедевров, которыми так богата Италия; это от него она переняла искусный и тонкий, насмешливый и глубокий стиль – характерную особенность его таланта, несколько необычного по форме выражения, – зато мягкостью чувства и обычной у женщин изобретательностью Камилл Мопеп была обязана только самой себе; это он привил ей вкус к немецкой и английской литературе и научил ее во время их путешествия этим двум языкам. В Риме в 1820 году он бросил мадемуазель де Туш для прекрасной итальянки. Не испытай Фелисите такого удара, кто знает – сумела ли бы она прославиться? Наполеон недаром называл неудачу повитухой гения. Это повое крушение научило мадемуазель де Туш презирать человеческий род, и презрение стало ее силой. Фелисите умерла, и родился Камилл. В Париж она возвратилась вместе с Конти, крупным композитором, к двум операм которого она написала либретто; но Фелисите не питала

более иллюзий и стала, тайком от света, своего рода Дон-Жуаном в юбке, только без долгов и без любовных побед. Ободренная первым успехом, она выпустила два тома пьес, сразу же завоевавших Камиллу Мопену первое место среди прославленных анонимов. Свою страсть и свои страдания она рассказывала в небольшом очаровательном романе, который по праву считается шедевром того времени. Ее книга в качестве опасного примера ставилась рядом с «Адольфом», но страшную скорбь Бенжамена Констана²⁸ Камилл превратила в своего рода анти-Адольфа. Утонченность ее литературной метаморфозы и поныне еще понятна далеко не всем. Только несколько тонких умов угадали в этом акте великодушный жест, – мужское имя отдавало писателя на произвол критики и избавляло пишущую женщину от славы, позволяя ей оставаться в тени. Но вопреки желанию Фелисите слава ее росла с каждым днем, чему причиной было влияние ее салона, равно как и ее меткие и острые словечки, правильность ее суждений, обширность ее познаний. Она становилась авторитетом, ее остроты повторялись многими, она не могла отказаться от обязанностей, которые на нее налагало парижское общество. Она стала признанным исключением. Свет склонился перед талантом и богатством этой необычной девушки; он признал, он санкционировал ее независимость; женщины восхищались ее умом, а мужчины – ее красотой. Впрочем, Фелисите ни в чем не преступала светских приличий. Все ее дружеские связи считались чисто платоническими. Она была женщиной-писателем, и только. Мадемуазель де Туш слыла очаровательной светской дамой, в нужные минуты слабой, праздной, кокетливой, занятой нарядами, восторгающейся пустячками, которые так милы женщинам и поэтам. Она прекрасно понимала, что после г-жи де Сталь в нашем веке нет места для Сафо и что Нинон не могла бы существовать в нынешнем Париже, где нет ни вельмож, ни сладострастного двора. Она была Нинон в области интеллекта, она обожала искусство и художников, она дружила то с поэтом, то с музыкантом, то со скульптором, то с романистом. Она была само благородство, само великодушие и не раз становилась жертвой обмана, так переполняла ее жалость к несчастным и презрение к счастливым. До 1830 года она жила в избранном кругу испытанных друзей, связанных любовью и уважением. Равно далекая от оглушительной славы г-жи де Сталь и от политических битв, она сама подтрунивала над Камиллом Мопеном, младшим братом Жорж Санд, которую она называла своим Каином, ибо ее молодая слава затмила славу Фелисите. Мадемуазель де Туш восхищалась успехами счастливой соперницы с ангельской кротостью, без малейшей зависти, безо всякой задней мысли.

До того времени, когда начинается наша повесть, Фелисите жила самой счастливой жизнью, какая только может выпасть на долю женщины, достаточно сильной, чтобы постоять за себя. С 1817 по 1834 год она раз пять или шесть наезжала в Туш. Первый раз она посетила это имение после первой своей любовной драмы, в 1818 году. Барский дом в Туше был вовсе непригоден для жилья; она поселила управляющего в Геранде, а сама заняла его квартиру в Туше. Она не подозревала тогда, что ее ждет слава, была печальна, ни с кем не встречалась, ей хотелось, после крушения, приглядеться к самой себе. Она написала одной парижской приятельнице письмо, в котором сообщала о своем желании обосноваться в Туше и просила прислать мебель, чтобы обставить сельский дом. Мебель прибыла водой в Нант. Оттуда на барже ее доставили до Круазика, а из Круазика не без труда довели через пески до Туша. Фелисите выписала из Парижа рабочих и поселилась в именье, которое понравилось ей до чрезвычайности. Здесь, как в своем собственном монастыре, она могла размышлять о том, что сделала с нею жизнь. В начале зимы Фелисите выехала в Париж. Геранда сгорала от любопытства: в маленьком городке не было иных разговоров, как о восточной роскоши в доме мадемуазель де Туш. Нотариус, который вел ее дела, разрешил желающим посещать Туш. Любопытные приезжали из Батца, из Круазика, из Савенэ. Эти посещения

²⁸ Бенжамен Констан (1767–1830) – французский писатель-романтик. «Адольф» – роман Констан (1816).

принесли за два года неслыханное богатство семьям сторожа и садовника – целых семнадцать франков. Сама хозяйка появилась в Туше только два года спустя, по возвращении из Италии, и проехала в свое имение через Круазик. Герандцы долгое время оставались в неведении относительно того, что мадемуазель де Туш уже среди них, а с нею и композитор Конти. Ее наезды из Туша в Геранду не возбуждали особого любопытства у жителей этого богоспасаемого городка. Только управляющий, да еще нотариус хозяйки Туша были посвящены в тайну прославленного Камилла Мопена. Но в те дни поветрие новых идей понемногу распространилось даже в Геранде, и многие горожане узнали о второй ипостаси мадемуазель де Туш. Директор почты получал письма, адресованные в Туш на имя Камилла Мопена. Наконец завеса разорвалась. В этом ревностно католическом, отсталом краю, где так живы предрассудки, странная жизнь прославленной женщины должна была стать предметом сплетен и пересудов, которые до смерти перепугали аббата Гримона и не могли найти здесь ни оправдания, ни снисхождения; нет ничего удивительного, что все единодушно сошлись во мнении: Фелисите – чудовище. На этот раз мадемуазель де Туш также приехала в имение не одна, – она привезла с собою гостя. Этим гостем был Клод Виньон, все презирующий и надменный литератор, который хоть и писал только критические статьи, тем не менее сумел внушить публике и своим собратьям по перу высокое мнение о самом себе. В течение семи лет он посещал салон мадемуазель де Туш вместе с другими писателями, журналистами, художниками и светскими львами, и хозяйка изучила его характер, лишенный силы, знала его леность, его вечную нищету, его беспечность и его отвращение ко всему на свете. Тем не менее, судя по тому, как она вела себя с Клодом, можно было предположить, что она собирается выйти за него замуж. Свое поведение, непостижимое для ее друзей, она объяснила честолюбием и страхом перед надвигающейся старостью: ей хотелось посвятить остаток своих дней человеку незаурядному, которому ее состояние послужило бы первой ступенькой в карьере и который помог бы ей сохранить влияние в литературном мире. Итак, она, как орел, уносящий в когтях ягненка, похитила из Парижа Клода Виньона и увезла в Туш, чтобы изучить его на досуге и принять наконец твердое решение; но она обманывала одновременно и Клода и Каллиста: она не думала о замужестве, ее душу терзали мучительные страдания, знакомые лишь сильным натурам; она понимала, что ум обманул ее, что жизнь ее слишком поздно озарило солнце любви, той пламенной любви, которая горит в сердце двадцатилетних.

А вот и обитель той, что околдовала Каллиста.

Шагах в ста от Геранды природа положила границу плодородным почвам Бретани – тут начинаются соляные озера и дюны. По узкой непроезжей дороге пешеход вступает в песчаную пустыню, которая пролегалa между морем и бретонскими черноземами. Среди бесплодных песков лежат озера причудливых очертаний, окруженные бурыми гребнями; здесь добывают соль, сюда вдается морской залив, отделяющий Круазик от континента. Хотя с точки зрения географа Круазик – полуостров и соединен с континентом плоским перешейком, идущим вплоть до местечка Батц, вернее было бы называть его островом, так как пробраться по зыбучим и бесплодным пескам перешейка – предприятие не из легких. В том месте, где тропинка, ведущая в Геранду, выходит на проторенную дорогу, стоит дом, окруженный большим садом; главная примечательность его – кривые, изогнутые сосны; одни раскинули свои ветви широким зонтом, зато другие почти вовсе голы, местами из-под ободранной коры проступает гладкий красноватый ствол. Этот сосняк, жертва злых ураганов, поднявшийся вопреки ветру и прибоям, если можно так выразиться, подготавливает душу к грустному и странному зрелищу: перед путником возникают соляные озера и дюны, напоминающие вздыбленные и застывшие волны. Дом, сложенный из сланца, скрепленного известковым раствором, стоит на гранитном фундаменте, построен без всякого архитектурного замысла и являет взору голые стены, прорезанные через равные промежутки про-

емами окон. На втором этаже в окна вставлены большие стекла, а в нижнем они переделаны на маленькие квадратики. Под высокой островерхой двускатной крышей со слуховым окошком над обоими фасадами тянется вдоль всего второго этажа длинный чердак. Под каждым из треугольных скатов крыши имеется окно, похожее на глаз циклопа. Одно смотрит на запад – на море, а другое на восток – на Геранду. Одним своим фасадом дом выходит на дорогу, ведущую к Геранде, а другим – к пустыне, которая подбирается к самому Круазику. За Круазиком начинаются морские просторы. Из-под каменной ограды парка пробивается ручеек, он течет вдоль дороги, идущей к Круазику, пересекает ее и теряется в песках, – может быть, впадает в маленькое соляное озерцо, оставленное среди дюн и болот морем, отступившим от пустыни. Проезжая дорога длиной всего в несколько туазов ведет к усадьбе, в которую входят через большие ворота. Двор окружен службами неприятельного вида; здесь имеются конюшня, каретный сарай, домик садовника, а за ним – птичий двор, которым пользуется не столько сама хозяйка, сколько сторож. Сероватые тона дома чудесно гармонируют с окружающим пейзажем. Парк зеленым оазисом лежит среди этой пустыни, и она первая встречает путешественника, когда тот минует глинобитный домишко, где круглые сутки дежурят таможенники. Усадьба де Туш не имеет земли, – вернее, земли ее расположены на территории Геранды; соляные озера приносят десять тысяч ливров дохода, а остальной доход поступает от арендаторов-земледельцев. Таково владение де Тушей, которых революция лишила феодальных поборов. Ныне Туш просто господский дом, но болотари продолжают по-прежнему называть его замком; они бы и владельца усадьбы называли сеньором, если бы земли не перешли в руки женщины. Когда Фелисите решила восстановить Туш, она, как истый художник, не позволила ничего изменить во внешнем облике этого уединенного дома, похожего на тюрьму. Было допущено только одно отступление – главные ворота украсила галерея с двумя кирпичными колоннами, под которой могла проехать карета. Двор был засажен деревьями и цветами.

Расположение комнат нижнего этажа такое же, как и в любом помещицком доме, построенном в прошлом веке. Очевидно, это здание было возведено на развалинах небольшого замка, который возвышался здесь, владея над соляными озерами, и был как бы соединительным звеном между крепостью Геранды и двумя замками сеньоров, в Батце и Круазику. Перед лестницей устроен перистиль. В просторную прихожую с паркетным полом Фелисите велела поставить бильярд; из этой комнаты попадали в огромную гостиную с шестью окнами; два из них, по торцовой стороне, доходили до самого пола, образуя двери, ведущие в сад, в который спускались по двенадцати ступенькам; две противоположные двери гостиной соединяли ее с бильярдной и столовой. Кухня, помещавшаяся в другом конце дома, сообщалась со столовой через буфетную. Лестница отделяла бильярдную от кухни; прежде из кухни можно было попасть прямо в перистиль, но Фелисите приказала заложить дверь и прорубить другую, во двор. Высокие потолки, огромные комнаты – все это позволило Фелисите убрать нижний этаж с благородной простотой. Она благоразумно решила не ставить здесь никаких роскошных вещей. Гостиная, выкрашенная в серый цвет, была обставлена старинной мебелью красного дерева, обитой зеленым шелком, на окнах висели белые коленкоровые занавески с зеленой каймой; кроме того, там стояли две консоли и круглый столик, на полу лежал ковер в крупную клетку; на высоком камине с огромным зеркалом красовались часы в форме колесницы Аполлона и два канделябра в стиле времен Империи. В бильярдной занавеси были из серого коленкора тоже с зеленой каймой, и там стояли два дивана. Обстановку столовой составляли стол, четыре больших буфета красного дерева, дюжина таких же стульев, обитых волосистой материей; по стенам висели великолепные гравюры Одрана в рамках того же дерева. С потолка спускался изящный фонарь с двумя лампами вроде тех, какие ставят на лестницах в богатых домах. Во всех

комнатах потолки, с выступающими балками, были выкрашены под цвет дерева. На старой лестнице с толстыми деревянными балясинами перил лежала зеленая дорожка.

В верхнем этаже было две половины, разделенные площадкой лестницы. Для себя Фелисите облюбовала ту половину, которая выходила на озера, на море и дюны, и устроила здесь гостиную, спальню, туалетную комнату и рабочий кабинет. Во второй половине по ее приказанию были устроены две спальни, и при каждой из них имелась своя прихожая и кабинет. Прислуга жила в горенках, расположенных под самой крышей. Комнаты, предназначенные для гостей, сначала были обставлены скромно, в них поставили только самую необходимую мебель. Роскошная обстановка, выписанная из Парижа, украшала собственные апартаменты Фелисите. Она решила собрать здесь, в этом унылом и печальном жилище, стоявшем среди унылых, печальных дюн, самые редкостные произведения искусства. Маленькая гостиная была обтянута гобеленами, заключенными в чудеснейшие резные багеты. Старинные занавеси из дорогой парчи, обшитые пышной бахромой, подхваченные шнуром с великолепными кистями, спадали тяжелыми складками до самого пола и отливали золотом и пурпуром, янтарем и изумрудом. В гостиной стоял резной ларь, который нашел для Фелисите ее управляющий, – сейчас такой ларь стоит не меньше семи-восьми тысяч франков; стол из черного дерева, весь покрытый резьбой, привезенный из Италии секретер с бесчисленными ящичками, инкрустированный слоновой костью, и еще несколько вещей в готическом стиле. Картины и статуэтки – всё редкости – отыскал для Фелисите один из ее друзей, художник: в 1819 году антиквары еще не подозревали, в какой цене будут эти сокровища через несколько лет. На столе стояли прекрасные японские вазы с фантастическими рисунками. Пол устилал настоящий персидский ковер, приобретенный у контрабандиста и доставленный сюда через дюны. Спальня Фелисите была выдержана в стиле Людовика XV. Здесь стояла кровать белого с резьбой дерева под шелковым золотистым одеялом; на выгнутых спинках кровати деревянные амуры осыпали друг друга цветами; пышный балдахин украшали по углам четыре плюмажа; стены спальни были обиты простеганной шелковыми шнурками персидской тканью; камин – с лепными украшениями в форме раковин; меж двух огромных ваз из синего севрского фарфора, оправленных в позолоченную медь, стояли золотые с чеканным узором часы, рамка зеркала была выдержана в том же духе; обстановку довершали задрапированный кружевами туалетный столик в стиле Помпадур с овальным зеркалом и затем различная мебель причудливой формы – козетки, низкие кресла, жесткие диванчики, пуфы со стегаными спинками, лакированные ширмы; занавеси были из того же шелка, которым была обита мебель, на розовой атласной подкладке и с толстыми шнурами; на полу лежал савонрийский ковер; повсюду были разбросаны изящные, богатые, хрупкие и роскошные вещицы, среди которых развлекались любовью красавицы XVIII века. Кабинет красного дерева, убранный в современном духе, являл полную противоположность галантному стилю Людовика XV; а огромная библиотека походила на будуар, – здесь тоже стояли диваны. Эту комнату заполняли очаровательные пустячки в современном вкусе, столь милые женскому сердцу: книги с застежками, шкатулки для перчаток и носовых платков, раскрашенные абажуры и статуэтки, китайские болванчики, письменные принадлежности, два-три альбома, пресс-папье и, наконец, множество модных безделушек. Возможно, что случайный посетитель бывал удивлен и даже встревожен, увидев здесь пистолеты, кальян, хлыст, гамак, трубки, охотничье ружье, табак, кiset, странную смесь предметов, которые как нельзя лучше живописуют характер Фелисите.

Человек, способный чувствовать природу, попав в комнаты мадемуазель де Туш, был бы поражен особой прелестью пейзажа, открывавшегося из окна: за парком, последним оазисом плодородной земли, расстилались дюны. Среди унылых четырехугольников соленой воды, разделенных узенькими беленькими тропками, с утра до вечера бродит болотарь в белом балахоне, подгребая граблями соль и складывая ее в кучи; птицы не про-

летают над этими пространствами, от которых поднимаются тяжелые, насыщенные солью испарения; здесь ничто не произрастает, лишь изредка взоры, утомленные однообразием песков, порадует низенькая жесткая травка, ухитряющаяся даже в этой пустыне расцвести бледно-розовыми цветочками, да кое-где подымает свои головки дикая гвоздика; дальше – озеро, наполненное морской водой, пески и дюны, и на горизонте – Круазик, миниатюрный городок, вдающийся в открытое море, подобно Венеции, и, наконец, безбрежный океан, окаймляющий бахромой пены гранитные утесы, что еще резче подчеркивает их причудливые очертания; это зрелище уводит ввысь мысли человека и одновременно навеивает грусть; впрочем, перед величественными образами природы душа всегда с невольной тоской устремляется к неведомому, которое открывается нам в недоступных далах. Первобытная гармония понятна только великим умам и великой скорби. Вот почему эта холмистая пустыня, где солнечные лучи, отраженные водами соленых озер и песками, вдруг зальют ярким светом местечко Батц и заиграют нестерпимым блеском на крышах Круазика, так часто занимала воображение Фелисите. Почти никогда не обращала она взоров в сторону Геранды, к очаровательным зеленым лугам, рошицам и цветущим изгородям, к милому городку, похожему на новобрачную, убранную лентами, цветами, вуалями и оборками. Зрелище это причиняло Камиллу Мопену ужасные, непонятные страдания.

Как только в конце обсаженной терновником дороги, над верхушками кривых сосен, показались два флюгера, украшавшие с двух концов крышу, Каллист вздохнул полной грудью – так легко показался ему здешний воздух; Геранда была ему тюрьмой, жизнь началась в Туше. Кто не поймет, какое очарование черпал здесь чистый юноша? Любовь, подобная любви Керубино²⁹, бросила Каллиста к ногам той, что стала для него великой, прежде чем стать просто женщиной. Но чувство юноши наталкивалось на необъяснимую холодность Фелисите. Со свойственной ей проницательностью Фелисите поняла, что это не любовь, а скорее потребность любить, – вот чем, пожалуй, объяснялось ее благородное упорство, которого не мог оценить Каллист. Кроме того, в Туше его ослепляли чудеса современной цивилизации, представлявшие резкую противоположность с Герандой, где даже нищета дю Геников почиталась роскошью. Здесь перед восхищенными взорами несведущего юноши, знавшего только дрок Бретани да вереск Вандеи, открывался некий новый мир, все богатство современного Парижа, и здесь также он впервые услышал незнакомую и благозвучную столичную речь. Здесь Каллист наслаждался поэтическими напевами прекраснейшей музыки, удивительной музыки XIX века, где мелодия и гармония одинаково мощны, где голосоведение и инструментовка достигли неслыханного ранее совершенства. Здесь он увидел творения богатой французской живописи, которая стала ныне наследницей итальянской, испанской и фламандской школ, но талант сделался в Париже явлением заурядным: все взоры, все сердца, пресытившиеся талантами, с тоской зывают о гении. Здесь он познакомился с удивительными созданиями современной литературы, которые производят глубокое впечатление на неискушенные сердца. Одним словом, наш великий XIX век представал перед Каллистом в своем разнообразном блеске; он узнал критический дух, свойственный веку, его стремление обновить все сферы жизни, его головокружительные замыслы, под стать властителю, который пытался водрузить свои знамена над колыбелью века, баюкая его звуками воинственных песен, сопровождаемых рыкающим басом орудий. Приобщенный к прославленным произведениям, великого мастерства которых, быть может, не замечали даже те, кто над ними трудился, кто создавал их, Каллист удовлетворял в Туше склонность к необычному, столь настоящую в его возрасте; им владело наивное восхищение, которое, подобно первой полудетской любви, глухо ко всем критическим

²⁹ ...подобная любви Керубино... – Керубино – персонаж комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», юноша, влюбленный в свою крестную мать, графиню Альмавива.

суждениям. Это так же свойственно юности, как пламени свойственно подыматься вверх. Он внимал этой блестящей парижской иронии, изящной сатире, и ему открывалась сущность французского ума, пробуждались тысячи мыслей, мирно спавших в тихом оцепенении родительского дома. Каллист считал мадемуазель де Туш матерью своего интеллекта, матерью, которую он мог любить невозбранно. Фелисите была так добра к нему; женщина всегда хороша с мужчиной, которому она внушила любовь, пусть даже она как будто и не разделяет его чувств. Теперь Фелисите занималась с Каллистом музыкой. Для юноши этот дом, высокие и просторные покои нижнего этажа, казавшиеся еще просторнее благодаря широкому виду из окон на искусно расположенные лужайки и массивы кустов в парке, площадка лестницы, уставленная творениями итальянских мастеров, вся в резном дереве, во флорентийских и венецианских мозаиках, с барельефами из слоновой кости и из мрамора, с занятыми безделушками, как будто вышедшими из-под палочки средневековой волшебницы; изящно убранные комнаты самой Фелисите свидетельствовали о смелом вкусе хозяйки, они были овеяны дыханием творчества, озарены необычным светом ума живого и щедрого. Современный мир, с его поэзией, резко противостоял мертвенному и патриархальному миру Геранды; здесь столкнулись лицом к лицу два начала: с одной стороны, многоликое разнообразие, с другой – монотонность дикой Бретани.

Теперь понятно, почему бедного юношу, которому тонкости «мушки» наскучили не меньше, чем его матери, охватывал радостный трепет всякий раз, как он приближался к этому дому, звонил у ворот, шел по двору. Следует заметить, что подобные ощущения неведомы человеку зрелому, познавшему тяготы жизни, человеку, которого ничто больше не удивляет и не страшит. Открыв дверь, Каллист услышал звуки рояля и решил, что Камилл Мопен в гостиной, но, когда он пересек бильярдную, музыка стала тише. Значит, Фелисите играла наверху, у себя, на маленьком своем рояле, который привез из Англии композитор Конти. Толстый ковер, покрывавший лестницу, заглушал шаги, и, чем выше подымался Каллист, тем нерешительнее они становились. Музыка, доносившаяся сверху, поразила его своей необычайностью, как откровение. Фелисите играла для себя, она беседовала сама с собой. Юноша не посмел войти в гостиную, он остановился на площадке лестницы и присел на обитую зеленым бархатом готическую скамью у окна, красивые наличники которого были искусно выточены из дерева, отделанного под орех и покрытого лаком. Услышав импровизацию Камилла, вы невольно бы сравнили эти звуки с воплем души, взывающей из гроба к господу, так таинственно-печальна была эта музыка. Влюбленному юноше слышались в этих звуках моления безнадежной любви, покорная нежная жалоба, стонания сдерживаемой грусти. Фелисите импровизировала, развивая и усложняя вступление к каватине «Пощада мне, пощада и тебе», в которой, по существу, выражен весь четвертый акт «Роберта-Дьявола». Она запела этот отрывок трагическим голосом и вдруг замолчала. Каллист вошел в гостиную и понял, почему пресекался голос певицы. Несчастливая Камилл Мопен, прекрасная Фелисите, без тени кокетства повернула к нему залитое слезами лицо, взяла носовой платок, вытерла глаза и просто сказала:

– Добрый день!

В утреннем туалете она была восхитительна. Из-под модной сетки, сплетенной из красной синели, спадали блестящие пряди черных волос. На Фелисите был коротенький казакин, напоминавший греческую тунику, из-под него выглядывали батистовые панталоны, вышитые у щиколотки, и очаровательные турецкие туфельки, красные с золотом.

– Что с вами? – спросил Каллист.

– Он не вернулся, – ответила она и, подойдя к окну, стала смотреть на пески, морской залив и озера.

Этот ответ объяснял изысканность ее одежды. Фелисите, должно быть, ждала Клода Виньона, она была обеспокоена, как женщина, понявшая, что усилия ее более не достигают цели. Мужчина в тридцать лет сразу понял бы это. Каллист видел только страдание.

– Вы встревожены? – спросил он.

– Да, – ответила Фелисите, и в голосе ее прозвучала печаль, которой не мог разгадать этот юноша.

Быстрыми шагами Каллист направился к двери.

– Куда же вы?

– Искать его, – ответил Каллист.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.